

ВЛАДИМИР РУГА, АНДРЕЙ КОКОРЕВ

МОСКОВСКИЕ КУПЦЫ

*Купцы галдят, мощной звенят,
На счётах звонкий счёт ведут,
Костяшкой щёлк — и рубль на стол.
Другую щёлк — другой пришёл!*

К. М. Фофанов

Известный московский предприниматель С. И. Четвериков, родившийся в середине XIX века, так характеризовал сформировавшую его среду:

“Хотя уже в моём поколении многое в жизни и обиходе семьи Самгиных было неприемлемо, но всё же в ней чувствовались какие-то незабываемые устои, фамильные традиции, семейная дисциплина и стремление к жизненной правде, то есть то, что, к сожалению, в теперешних русских семьях также уходит в невозвратное прошлое”.

Иначе говоря, московское купечество вступило в новую эпоху, сохраняя старый жизненный уклад, имевший специфические черты. Постепенно под напором изменений общественных условий менялся и сам этот уклад, менялось поведение целого сословия.

Как же это проявлялось в повседневной жизни?

Начнём с портрета купца старой формации. В романе “Замоскворецкие тузы” авторитетный знаток купеческого быта Д. И. Стахеев наделил своего главного героя типичными чертами:

“Хомутильников Захар Прохорович — купец обстоятельный, в вере твёрд, в торговых делах аккуратен и в семье своей глава самодержавный. День он проводит “в городе”, куда отправляется после утреннего чая, завтракает “в линии” с лотка, обедает в трактире “с покупателем”, чай пьёт с ним же и домой возвращается поздним вечером.

Росту он крупного, в плечах широк, ликом благообразен, одевается по-купечески, не то чтобы уж очень по-старинному, но и не в короткополые сюрту-

РУГА Владимир Эдуардович и КОКОРЕВ Андрей Олегович — известные историки московской жизни XIX — начала XX веков. Журнал продолжает публикацию их увлекательных материалов. Предыдущие были в №9 за 2008 г., №9 за 2009 г., №11 за 2010 г., №10 за 2011 г., №2 за 2013 г., №9 за 2014 г.

ки, и каждый раз при заказе платья внушает портному строго-настрою: “Гляди, ты не окургузь меня, и ни в каком разе, чтобы сюртук выше колен не был”.

Борода у него густая, тёмно-русовая, которую он время от времени подстригает.

— Борода, ежели апостольская, — замечает он иногда, стоя перед зеркалом с ножницами, — это очень, можно сказать, хорошо и придаёт человеку са новитость, но мне ещё она не по годам, и потому я не должен давать ей воли, то есть чтобы распространяться безо время.

Речь у него твёрдая, ясная, голос звучный, движения смелые и взгляд ка рих глаз при оживлённом разговоре дышит умом и энергией”.

Главной средой обитания коренного московского купечества, местом компактного проживания и привычного соседства друг с другом были Замо скворечье, Таганка и Рогожская слобода. И везде была одна и та же карти на, подобная изображённой А. М. Пазухиным в романе “Лунные ночи”:

“Спит пустынная купеческая улица.

Кое-где в окна мелькают трепетные огоньки лампад, и почти во всех до мах уже спят после длинного дня, разве где-нибудь именинная вечеринка, или молодая купеческая жена сидит у огонька, ожидая загулявшего за горо дом муженька.

Крепко заперты массивные ворота, и дворников, вышедших на дежурст во, немного, но и без дворников неопасно в этих домах, защищённых огром ными тяжёлыми воротами и оберегаемых злыми псами, спущенными с цепей и наполняющими пустынную улицу злобным, угрожающим лаем”.

А художник и писатель А. П. Сухов в небольшой зарисовке отметил осо бенность жизни Замоскворечья в дневное время:

“Между улицами Серпуховской и Зацепой с незапамятных времён суще ствует переулок, названный почему-то Остолоповым. Тянется он и вкривь, и вкось без малого на версту. В продолжение целого дня по этому переулку пройдёт никак не больше двух или трёх пешеходов, проедет не больше одно го или двух извозчиков с нетуземными обитателями. Только по утрам да по сумеркам, когда почтенному купечеству приходится ехать на биржу иль воз вращаться с неё, Остолопов переулок на несколько времени оживляется. Крупной и мелкой рысью едут по нему на откормленных рысаках отъезжиеся коммерсанты; там и сям с тугим скрипом растворяются тяжёлые ворота, не привыкшие растворяться чаще двух раз в сутки и, поглотив в себя людей и лошадей с экипажами, опять захлопываются на целую ночь”.

Типичный купец, описанный Д. И. Стахеевым, обитал в типичном для “замоскворецкого туза” жилище:

“Дом у Захара Прохоровича деревянный, на высоком каменном фунда менте, двухэтажный, построенный покойным отцом его из толстых восьми вершковых¹ бревен, какие теперь можно, пожалуй, показывать за деньги как редкость. В то давно прошедшее время такие сосновые бревна сплавлялись по Москве-реке в большом количестве, подобно тому как теперь сплавляются четырёхвершковые. Теперь московский обыватель и на шестивершковое бревно смотрит уже, так сказать, с чувством благоговения и дивится, как это, мол, ты, голубчик, мог достигнуть такой толщины в наши дни.

Архитектура дома простая, без всяких фигурных украшений, нет ни ко лонн, ни балконов с затейливой резьбой, ни парадного подъезда с улицы, ни деревянных львов с разинутыми пастьями, каких любили помещать на во ротах сановитые домовладельцы прежнего времени, разъезжавшие когда-то по Москве в огромных колымагах на четвёрках цугом, с лакеями, стоявшими по двое на запятках в обшитых галунами ливреях.

Всё было в доме хозяйственно и прочно. В верхнем этаже помещался сам Захар Прохорович с семьёй, в нижнем две комнаты занимала контора, а в ос тальных жили “молодцы”².

Дом, где жили герои романа А. М. Пазухина “Буря в стоячих водах”, — ку печеская семья из четырёх человек, — был устроен примерно по такому же “стандарту”:

“Немногочисленное семейство это занимало десять комнат бельэтажа и три комнаты мезонина, так что дом выглядел пустоватым, и большая часть

¹ 35,5 см.

² Молодёц — так купцы называли приказчика.

его парадных светлых комнат была необитаема и открывалась только в большие праздники да в дни семейных торжеств, остальное же время семейство довольствовалось пятью-шестью комнатами.

Нижний этаж был оживлённее, там помещались контора, квартира главного приказчика и “молодцовские” комнаты”.

Традиция предоставления приказчикам жилья в хозяйском доме существовала довольно долго. Например, П. И. Щукин, в 1891 году обосновавшись в новом владении на Малой Грузинской улице, помимо переделки особняка под свой вкус, приказал построить на участке каменный двухэтажный дом для своих служащих.

Приказчикам, жившим в доме своего работодателя, не приходилось задумываться о решении квартирного вопроса, и к тому же их обеспечивали питанием с хозяйской кухни. С другой стороны, они находились практически на казарменном положении или, как выразилась героиня романа “Замоскворецкие тузы”, “нет ни входу, ни выходу из дому. В тюрьмах и в крепостях военных даже нет таких строгостей. . .”

Под такой же плотной опекой находились приказчики, жившие в семье С. И. Четверикова:

“Владимир Семёнович, наследовавший своему отцу Семёну Алексеевичу, очень тщательно наблюдал за поведением своих служащих. Ворота запирались в 10 часов вечера, и о каждом не только отсутствующем, но и опоздавшем неизменно докладывалось Владимиру Семёновичу. Он имел обыкновение, прежде чем произнести какую-либо фразу, дуть себе в кулак, издавая звук “пу, пу, пу”. Когда такой провинившийся объявлялся к утреннему чаю, прежде с конца стола раздавалось предупреждающее “пу, пу, пу” и вслед за тем – вопрос: “А позвольте-с узнать-с, в какой части¹ ночевать изволили-с?” Мало находилось любителей подвергать себя такому осмеянию, и жизнь в общем текла безмятежно”.

Вот нарисованная Д. И. Стахеевым довольно типичная картина взаимоотношений между купцом и живущими у него приказчиками:

“В летние месяцы, в особенности в июне и июле, когда торговая московская жизнь несколько затихает, как бы утомлённая усиленной деятельностью во время зимы и весны, молодцы, возвратившись “из города”, болтались после вечернего чая по двору, не зная, куда девать свободное время. Встретив иногда хозяина, вышедшего во двор “для воздуха”, они просили разрешения “пройтись по бульвару”.

– Ну-ну! Опять!.. Сидите дома, нечего слоны-то слонять. . .

– Погода, Захар Прохорович, такая. . . очень замечательная. . . И время свободное. . . Позвольте от скуки пройтись. . .

Захар Прохорович хмурил брови и сердито отвечал.

– Выдумали что! Читайте акафист, вот и скука пройдёт”.

И чтобы не идти наперекор хозяйской воле (а это было чревато потерей места с “волчьим билетом”), приказчики практиковались в духовном песнопении.

“Молодцы” Захара Прохоровича, собравшись летним вечером под навесом, где стояли экипажи, иногда певали хором, но не песни, а что-нибудь “божественное”, и не громко, а вполголоса. Бывало, Захар Прохорович с Анной Фёдоровной, тоже подобно молодцам коротавшие летние вечера чаще всего дома, растворят в зале окно и слушают их пение.

– “Ужасошася вся-я-ческая. . . о божественной славе Твоей!..” – доносятся оттуда голоса, слышится и басок, и тенорки, и даже видно Захару Прохоровичу, как один из молодцов размахивает обеими руками, давая такт хору.

– А ведь ничего, Анна Фёдоровна, – замечает Захар Прохорович, – складно у них выходит. . .

– Не больно складно, а слушать можно. . .

– Ребята! Эй!.. Митрий! Слышь! – зовёт Захар Прохорович, выглянув в окно.

Под навесом происходит некоторое замешательство, пение прекращается, и кто-то оробевшим голосом спрашивает:

– Что угодно, Захар Прохорович? Прикажете перестать – мы перестанем. . . Мы только так. . . тихонечко. . .

¹ Отделение городской полиции, при котором были камеры, куда на ночь помещали пьяных и дебоширов.

– Нет, нет! Отчего же?.. Пойте. Это даже очень превосходно... Ну, только спели бы вы ту, которую в церкви Софроныч часто заместо запричастного стиха поёт... Ах, хороша штука! Беспременно хороша!.. Как она?.. Ну, вот та, которая... помнишь?.. в ней еще есть слова: “Но я-я-ко благоутробен”...

– А-а!.. – вспоминает молодец. – Это у нас, Захар Прохорович, не выходит. Действительно штука неподобная, ну, не выходит!..

– Почему так?

– Одно колено в ней есть такое, никак его голосом вывести не возможно.

– Как же Софроныч выводит?..

– Софроныч ноту знает, а мы ведь так, с голоса...

– Жаль, жаль... Ну, ладно. Пойте другое, что знаете”.

Не всегда такое пение было добровольным. По воспоминаниям И. А. Слонова, его работодатель купец Заборов был ещё и церковным старостой, поэтому его служащие должны были петь в церковном хоре.

Заборов был классическим деспотом: отличался свирепым нравом и привычкой сурово, вплоть до избиений палкой, наказывать за малейшие провинности. Для отлучек “со двора” приказчики должны были спрашивать у хозяина разрешение и зачастую натывались на отказ. Тогда они просто дожидались, пока купец заснёт, и, договорившись со сторожем или просто перемахнув через забор, отправлялись по своим делам, а с рассветом возвращались.

Впрочем, по свидетельству А. П. Сухова, были среди купцов такие, кто предпочитал жить лишь с одним своим семейством:

“Дом богатого купца Терентия Лукича Дроздова находился в одном из глухих замоскворецких переулков. Он был сложен из кирпича, по образцу старинных купеческих домов, в два этажа с мезонином, крутою крышей и маленькими окнами. В нижнем этаже помещалась кухня с прислугой, бельэтаж занимал сам Терентий Лукич, а в мезонине жили Дроздова сестра-девушка и дочь-девица.

Помещенья для всей семьи, состоявшей – если не считать прислугу – из трёх человек, было уж чересчур много, а этот разъединяющий простор, эта безлюдная тишина и пустота комнат на всех троих наводили подчас уныние. Но такова была воля Терентия Лукича: он любил жить особняком, на широком просторе, и ни за какие деньги не пустил бы в дом к себе никакого постояльца.

– То ли дело пребывать одному! – говаривал Дроздов. – Уж не в пример вольготнее. Благоденствуй, сколько твоей душе угодно, примерно хоть пляши на дворе али под пьяную руку рылом землю вспахивай – никто не обсмеёт тебя. Сам большой и набольший, стало быть, твори, что хочешь...”

При всех вариантах – с приказчиками в качестве квартирантов или нет – для защиты от проникновения посторонних купеческий дом обустраивался по единому образцу:

“Никакой зоркий глаз не проник бы за его высокие заборы, усаженные гребнем из гвоздей, а в ворота, целый день содержимые на запоре, никто не входил без многократного оклика. На ночь же, с девяти часов вечера, отцеплялись от конур две огромные собаки, до того злые и чуткие, что если по улице проходил человек – что в том глухом переулке редко случалось – или проезжал извозчик – что случалось ещё реже – то эти два кобеля бешено бросались на забор и к подворотне и выли неистово”.

Не отличались разнообразием и интерьеры купеческих домов. Даже самые богатые обитатели Замоскворечья, судя по писанию Д. И. Стахеева, обходились без изыска:

“И обстановка была тоже без всяких затей, на старинный лад. Зал с зеркалами в простенках между окон, на стенах несколько литографий в тоненьких рамках со стеклами: старец Серафим – ныне прославленный Саровский чудотворец – в лесу с медведем, дающий ему ломоть хлеба, вид колокольни и собора Киево-Печерской лавры, портрет митрополита Филарета и т. п. В гостиной – мебель, закутанная в белые чехлы, на крашеном полу – дорожки из холста, в кабинете – диван, обитый кожей, письменный стол красного дерева и железный несгораемый шкаф. В спальне – занавесь, разделяющая комнату на две половины; в первой в переднем углу – киот, высокий и широкий, с множеством образов и с горящими пред ними лампадами, около него сбоку на гвозде – связка ключей от амбаров и кладовых, как бы намеренно помещённая поближе к святыне, так сказать, под её охрану, в простенке между окнами – стол, далее – комод, два-три стула; а во второй половине –

широкая кровать с горой подушек, гардероб и... клопы. Эти последние, впрочем, в весьма ограниченном количестве, допускаемом самыми строгими законами купеческого домоводства.

— От клопа и от таракана не уберёжешься, — говорила по этому поводу Анна Фёдоровна, — это уж так от Бога, потому где люди, там и всякая малая тварь. Да и то надо рассудить, что такое, например, клоп, — медведь он, что ли? Само собой, давать ему волю тоже нельзя, потому он на разводку лют и завсегда его надо перед Рождеством и перед Пасхой кипятком ошпаривать. Это уж бесприменно требуется”.

Правда, время от времени среди купцов находились нарушители традиций. Отступая от поведенческих норм своего окружения, они, подобно герою романа А. С. Ушакова, и домашний быт устраивали по дворянскому образцу:

“Павел Васильевич поставил дом свой на широкую ногу, роскошно меблировал его, накупил дорогих картин, завёл кучу разнокалиберных экипажей, повара, людей, и начал жить, как говорится, открыто, по-барски... Трудно представить себе более пёстрое и яркое смешение азиатского образа жизни с европейской обстановкой, какое представлял в это время его дом. Немного отличаясь снаружи от окружающих его строений, он сливался в линию неуклюжих домов зажиточного купечества, а внутри блестел ярко и ценно...”

Впрочем, судя по авторской иронии, современники прекрасно видели, что сквозь дорогой внешний антураж явственно проступала старая, заскорузлая натура “чумазого”: “по разноцветным, мозаичным полам нередко ходили стоптанные туфли, в трёх-четырёхаршинных зеркалах отражалось нередко сонное лицо Павла Васильевича в замазленном беличьём халате, в гостиной на дубовой, обтянутой синим бархатом мебели нередко шушукалась с какой-нибудь кумушкой жена Павла Васильевича — простодушная Прасковья Никитишна, которая, несмотря на все его усилия придать ей внешний лоск и сделать похожей на барыню, смотрела самой присяжной купчихой”.

По своему устройству купеческое домовладение во второй половине XIX века представляло собой городскую усадьбу. Кроме жилого дома, на участке располагались необходимые хозяйственные постройки: конюшня, сеновал, каретный и дровяной сарай, погреб с ледником и т. п., а также обширный сад.

Если у купцов не было родовых корней в традиционных замоскворецко-таганских “анклавах”, то они селились по всей Москве — там, где находили подходящее жильё. Например, отец П. И. Щукина сначала арендовал главный дом дворянской усадьбы в Милютинском переулке (сам владелец перебрался во флигель). Затем, достаточно разбогатев, он обосновался в бывшем аристократическом районе — на Пречистенке:

“Дом имел форму буквы Г и был каменный трёхэтажный. При доме имелись сад, небольшая оранжерея и службы. В саду отец выстроил деревянную беседку. В нижнем этаже дома находились комнаты для прислуги, чайная конторщиков и кухня, настольно большая, что в ней во время вечеров пятнадцать поваров свободно готовили ужин. (...)

Во втором этаже находились столовая, буфетная, комнаты моих сестёр и старших братьев, моя комната, комната гувернантки, комната прислуги и контора.

Во второй и третий этажи вела парадная чугунная бронзированная лестница. Бильярдная находилась в стороне от всех других комнат; из передней в бильярдную надо было подниматься по деревянной винтовой лестнице. В третьем этаже жили отец, мать и два младших брата, Владимир и Иван, с пожилой немкой, Эммой Карловной Крузе. Все комнаты третьего этажа были высокие, причём парадные были богато отделаны и роскошно меблированы. Потолок в большом, вроде залы, отцовском кабинете был красный с белыми с золотом лепными орнаментами. Мебель в двухсветной зале была обита жёлтым шёлковым штофом, и из такого же штофа были драпировки на окнах и дверях. Из залы через арку входили в гостиную, стены и золочёная мебель которой были обиты пунцовой шёлковой материей. За пунцовой гостиной следовала голубая шёлковая гостиная, затем белый атласный будуар и спальня матери. Все эти четыре комнаты составляя одну анфиладу. В коридоре третьего этажа на потолке и карнизах была хорошая фресковая живопись итальянской работы; между прочим, были написаны тигры. В третий этаж вела ещё деревянная лестница, а из второго этажа в нижний — каменная (чёрная)”.

Миллионер К. Т. Солдатёнков зимой жил в собственном доме на Мясницкой, а летом – в купленном в 1865 году имении Кунцево.

Распорядок дня обитателей московских купеческих особняков не отличался разнообразием. Глава семейства обычно вставал на рассвете. Супруга с помощью прислуги накрывала на стол. После утреннего чая купцы в собственных экипажах выезжали в Китай-город, где была сосредоточена деловая жизнь Первопрестольной.

“Главные торговые операции производились в городских рядах, – писал А. П. Чехов в повести “Три года”, – в помещении, которое называлось амбаром. Вход в амбар был со двора, где всегда было сумрачно, пахло рогожами и стучали копытами по асфальту ломовые лошади. Дверь, очень скромная на вид, обитая железом, вела со двора в комнату с побуревшими от сырости, исписанными углем стенами и освещённую узким окном с железной решёткой, затем налево была другая комната, побольше и почище, с чугунною печью и двумя столами, но тоже с острожным окном: это – контора, и уж отсюда узкая каменная лестница вела во второй этаж, где находилось главное помещение. Это была довольно большая комната, но, благодаря постоянным сумеркам, низкому потолку и тесноте от ящиков, тюков и спующих людей, она производила на свежего человека такое же невзрачное впечатление, как обе нижние. Наверху и также в конторе на полках лежал товар в кипах, пачках и бумажных коробках, в расположении его не было видно ни порядка, ни красоты, и если бы там и сям из бумажных свёртков сквозь дыры не выглядывали то пунцовые нити, то кисть, то конец бахромы, то сразу нельзя было бы догадаться, чем здесь торгуют. И при взгляде на эти помятые бумажные свёртки и коробки не верилось, что на таких пустяках выручают миллионы и что тут, в амбаре, каждый день бывают заняты делом пятьдесят человек, не считая покупателей”.

За фотографическую точность этого описания ручался П. А. Бурышкин, ссылаясь на свидетельство своего хорошего знакомого, купца И. Е. Гаврилова: “Гавриловскую семью я знал с раннего детства и хорошо помню, как там с гордостью говорили: “Чехов наш амбар описал в своём рассказе”.

В романе П. Д. Боборыкина “Китай-город”, также построенном на предельно точном изображении купеческой жизни, контора и склад торговой фирмы выглядят немного иначе:

“Верхний амбар полон был света, заходившего именно теперь, к вечеру. По прилавкам и полкам играли полосы и “зайчики”. Штуки разноцветного товара целыми стопами поднимались на прилавках и по полу, у окон и столбов, поддерживающих своды. Запах набивных ситцев и других бумажных тканей смешивался с более кислым запахом прессованного сукна. Склад держался в большой чистоте. Кроме штукатуренных стен, ясеневых полок и прилавков и чугунного пола, лестниц и перегородок, не к чему было пристать пыли и грязи”.

В начале 1880-х годов, когда был написан “Китай-город”, преобладали “амбары” старого типа, но среди купцов уже были те, кто находил нужным менять внешний антураж:

“В рядах старого гостиного двора притихло. И с утра в них мало движения. Под низменными сводами приютились “амбары” – склады самых первых мануфактурных и торговых фирм, всего больше от хлопчатобумажного и прядильного дела. Эти лавки смотрят невзрачно, за исключением нескольких, отделанных уже по-новому – с дорогими стеклами в дубовых и ореховых дверях с фигурными чугунными досками”.

Свой штрих к картине деловой жизни купечества добавил П. М. Рябушинский:

“Амбар – это оптовый склад и тут же контора.

Служащие, начиная с главного доверенного, бухгалтеров, приказчиков, артельщиков и кончая рабочими, всё это – долголетние сотрудники. Редко, редко кого-либо увольняли, разве только что за очень крупные проступки, воровство или уже очень бесшабашное пьянство. Отношение было патриархальное. Если кто-либо сам уходил без особых причин, то это было для хозяина “поношением”. В хороших домах с гордостью говорили: “От нас уходят только, когда помирают”.

Великолепно это патриархальное отношение изображается Шмелёвым. У него не “работодатель” и “работоприематели”, а старшина и его род. Изу-

мительно, например, описание, как отец Шмелёва и его служащие спасают барки во время ледохода. Это прямо рассказ о победоносном бое с врагом князя и его дружины.

У нас всё это было уже хуже и бледнее, но кое-что осталось”.

На практике это “кое-что” могло принимать разные формы. Так, по воспоминаниям П. И. Щукина, у его отца в отношении к служащим на первом месте было доведённое до мелочных придирок требование соблюдения дисциплины:

“У отца в лавке служил его брат Павел Васильевич. Отец был очень строг, и все служащие, в том числе и мой дядя, его боялись. Отец не любил, чтобы в лавке кто-либо из служащих курил, хотя сам курил очень много сигар; он также не любил, чтобы служащие читали газеты или книги, вообще не терпел, чтобы в лавке занимались посторонним делом, и если кто попадался в таких проступках, того отец порядком отчитывал. <...>

В нашей лавке дядя тоже курил трубку, но только в отсутствие отца. Свою трубку дядя держал в лавке за печкой, у которой обыкновенно сидел в мягком, обитом пёстрым ситцем кресле. Кресло стояло близко от входных дверей в лавке, и когда входил отец, то дядя вставал. Раз как-то при мне отец вошёл так неожиданно, что дядя не успел поставить за печку трубку; по этому случаю отец строго заметил дяде: “Могли бы выбрать другое время”. <...>

К отцу в столовую каждое утро вызывался артельщик Михайло Хайлов, которому отец давал разные поручения; потом приходил приказчик Иван Иванович Чельшков, и отец просматривал с ним остаток долгов за покупателями. Тому и другому нередко от отца доставалось. Как-то Хайлов, стоя у стола, за которым отец пил кофе, опёрся руками о стол; тогда отец, не говоря ни слова, встал, взял стул и предложил ему сесть, чем, конечно, очень его конфузил”¹.

Однако эта строгость воспринималась подчинёнными не проявлением самодурства, а как нормальное требование. Довольно характерная деталь: когда И. В. Щукин умер, рабочие его “амбара” по собственному желанию на плечах пронесли гроб с телом от церкви до кладбища.

Нисколько не сомневаясь в истинности этих свидетельств, для полноты картины приведём рассказ ещё одного современника. В романе А. М. Пазухина “Лунные ночи” одному из приказчиков предложили перейти в другую фирму на хорошее жалование, и в ответ на его просьбу об увольнении вот как восторжествовал принцип “от нас не уходят”:

“— А ты не перебивай, рвань коричневая, ежели с тобою постарше тебя разговаривают! — оборвал Семён Ильич, искусственно раздражаясь. — Верная служба!.. У нас верная-то служба была вот какая: хозяин служащему кусок чёрствого хлеба даёт да раз в день в рыло кулаком суёт, десять, двадцать годов в чёрном теле держит, а потом уже и наградит за терпение да за службу... По-царски наградит, на всю жизнь слугу и детей его сытыми и счастливыми сделает!.. Рукобелова знаешь?.. Заводы свои, дома, потомственным почётным гражданином недавно сделан, а отец его у покойного родителя моего приказчиком был, и родитель его за волосы таскал, двадцать пять рублей ассигнациями в год ему платил, а потом и рассчитал уже, как следует... Это вот верная служба была... Рукобелова-то в Нижний от папаши на две тысячи жалованья сманивали — неслыханная плата в те поры! — а он не подумал даже уходить, а вы...

Семён Ильич плюнул.

— Грош вам цена, дуракам! — договорил он. — Жалованье, вишь, ему дают, а здесь мало, на трактиры да на бильярды не хватает... А я, может,

¹ Дальнейший распорядок дня купца И. В. Щукина не отличался разнообразием: “Из столовой отец шёл в контору... <...> В конторе отец просматривал торговые книги, и тут обыкновенно не обходилось без замечаний конторщика. Из конторы отец поднимался к себе наверх, одевался и ехал на одну из трёх фабрик: к Гюбнеру под Девичье (А. Ф. Гюбнер жил на фабрике, где у него был сад. В саду было много цветов и стояла большая железная клетка, в которой летом сидело множество разнообразных певчих птичек). <...> или к Цинделю в Кожевники (при Цинделевской фабрике был прекрасный фруктовый сад, за которым ухаживал сам старик Эмиль Эмильевич Циндель, основатель фабрики. Циндель, как и Гюбнер, был эльзасец), или к Прохорову на Три-Горы, откуда возвращался частью пешком, в то время как экипаж следовал за ним шагом. После завтрака отец ехал в лавку, откуда приезжал домой к обеду. После обеда, если не было гостей, отец отдыхал, а потом отправлялся в театр или в гости”.

тебя, дурака, сразу награжу, может, я тебя в духовном завещании упомяну и откажу тебе то, что тебе и во сне не снилось?.. Дубина!..

— Семён Ильич, батюшка, благодетель! — заговорил глубоко тронутый эту речь Перчаткин, в воображении которого ясно представился день, в который будет вскрыто духовное завещание миллионера Воронкова, щедро награждающего из гроба своего верного слугу. — Семён Ильич, я разве не ценю вас?.. Очень ценю-с, да нужда моя вопиет!..

Он показал на свой туалет.

— Вот в каком гардеробе хожу, срам смотреть: в людях презрение и негодование возбуждаю... Жизнь сейчас дорогая, а у меня на руках мамаша, сестра...

— А ты старайся, и все мамыши твои сыты будут! — ответил Семён Ильич и понял, что Перчаткин им побеждён, что он никуда не поедет и просьбами беспокоить его не будет, ожидая великих и богатых милостей в будущем.

Семён Ильич достал сторублевый билет и бросил на стол.

— На вот, экипируйся, — сказал он. — Жалованья никакого не назначаю, а награждён будешь по заслугам...”

Купец, в доме которого царили патриархальные отношения, был непрерываемым авторитетом не только для служащих, но и для членов его семьи. Таких принципов, как рассказывал А. В. Бурышкин, придерживались Бахрушины:

“Старший, Пётр Алексеевич, правил всем домом, всей семьёй, и братьями, и взрослыми, женатыми сыновьями, как диктатор. Своим братьям, которые были значительно его моложе, он говорил “ты”, “Саша”, “Вася”, но они обращались к нему: “Вы, батюшка-братец Пётр Алексеевич”. До прихода его в столовую никто не мог сесть. Потом младшая дочь читала молитву “Очи всех на Тя, Господи...”, и начинался обед, после которого все подходили к его руке и к руке его жены. Жили долгое время общим хозяйством, материал на одежду покупали штуками, для всех. Долго и касса была общая. В конце года выводилась общая наличность”.

Аналогичные нравы царили в семье Самгиных, в которой вырос С. И. Четвериков:

“Дед не был столь распространённым тогда в купеческой среде типом “самодура”; напротив, это был человек очень мягкий и добрый, но свою власть как главы семьи оберегал очень ретиво. Не только что сделать против его воли, но даже перечить ему на словах считалось в семье преступлением. Характерным было его отношение к старшему брату. Иван Николаевич имел несчастье проторговаться, что тогда в купеческой среде считалось позором. Жил он в маленькой комнатухе в мезонине, состоя как бы нахлебником в семье. Но пока Иван Николаевич не сходил к обеду и не занимал своего места, никто, включая и деда, не смел садиться за стол”.

Кроме “амбаров” купцы проводили рабочий день в “лавках”. Во второй половине XIX века под этим словом подразумевали, в понятиях нашего времени, как магазин, так и офис фирмы, занимавшейся оптовой и мелкооптовой торговлей. Оба эти вида коммерческой деятельности были сосредоточены в Старом Гостином дворе, в Тёплых рядах и на “подворьях” — по сути, торгово-гостиничных комплексах, опять же говоря современным языком. Вот, например, свидетельство И. П. Щукина:

“В старом Гостином дворе К. Т. Солдатёнков снимал лавку, состоявшую из двух комнат — нижней и верхней; в верхней обыкновенно Козьма Терентьевич занимался чтением газет, а в нижней И. И. Барышев стоял или сидел за конторкой, и если не было дела, то писал фельетоны для “Московского листка” под псевдонимом Мясницкого. <...>

В декабре 1878 года отец основал торговый дом под фирмой “И. В. Щукин с Сыновьями”, приняв братьев моих, Николая и Сергея, и меня в качестве товарищей. Торговали мы по-прежнему на Чижовском подворье, а в 1878 году сняли ещё другую лавку в Юшковом переулке, на Шуйском подворье, в доме Московского Купеческого Общества. (В 1886 году мы оставили Чижовское подворье, так как помещение стало слишком тесно, и перешли в соседнее Носовское, оставшись в то же время и на Шуйском.)”

Специфику подворий, рассказывая о жизни Китай-города, отмечал П. И. Богатырёв:

“Переулки, ведущие с Никольской к Ильинке, и сама Ильинка ведут огромную оптовую, преимущественно мануфактурную торговлю. Тут ворочают

огромными капиталами в сотни миллионов рублей, это центр всероссийской торговой силы. Здесь каждый торговый угол носит своё название: Мещаново подворье, Суздальское подворье, Чижовское подворье и много других. На дворах этих подворий и находятся лавки и амбары, где происходит эта громадная торговля. Здесь мелкого покупателя нет, здесь “оптовик”, который наезжает в Москву сам редко, а требования свои выражает или письмами, или “эстафетой”, оттого здесь покупателя мало и видно. Но зато суета здесь большая: с утра до вечера рабочие, русские и татары, запаковывают и распаковывают товары, кладут на возы “гужевых” извозчиков, которые своими возами застывали, бывало, все подворья. Товары привозились и отвозились, грузились и разгружались, и жизнь кипела, как смола в котле. Тогда на этих подворьях такого простора, за исключением немногих, уж очень больших, и удобств не было, всё было грязновато и темновато, особенно осенью и зимой”.

А вот отрочество и юность И. А. Слонова прошли в “лавке”-магазине, находившейся в Гостином дворе или Верхних торговых рядах. По словам мемуариста, “ряды” имели для горожан жизненно важное значение:

“В семидесятых и восьмидесятых годах на московских улицах не было никаких магазинов, исключая булочных, овощных и табачных лавок.

Поэтому за каждой мелочью приходилось посылать “в город”, то есть в Гостиный двор, где была сосредоточена как розничная, так и оптовая торговля...”

После пожара 1812 года этот торговый центр был перестроен по проекту архитектора О. И. Бове. Здание, протянувшееся центральным фасадом вдоль Красной площади, было двухэтажным, с куполом в центральной части и треугольным фронтоном, опиравшимся на 12 колонн (москвичи называли их “столбы”). Боковые части, выходявшие на Никольскую и Ильинку, именовали “глаголями”. В первом из них была сосредоточена писчебумажная торговля, во втором – продавали фрукты, гастрономические и бакалейные товары.

Типично по-московски за строгим фасадом в стиле классицизма скрывался причудливый лабиринт разномастных зданий, которые, по словам И. А. Слонова, были “похожи на азиатский караван-сарай”. Купцы строили лавки, исходя из своих финансовых возможностей и представлений об удобстве, поэтому результат был закономерен:

“Вследствие такой бессистемности и не одновременной постройки, ряды вышли кривые, один выше, другой ниже.

Лавки тоже все разные, одна больше, другая меньше, одна светлей, другая темней и т. д. <...>

С высоты птичьего полёта торговые ряды представляли собой полнейший хаос разной величины крыш, мансард, чердаков, фонарей и проч.”

Между “глаголями” пролегал самый популярный торговый ряд – Ножевая линия, в описании П. И. Богатырёва выглядевшая так:

“Здесь с одной стороны были лавки, а с другой, к наружной стене, – так называемые “овечки”. Это стеклянные ящики, стоявшие на прилавках. В “овечках” продавали, как и по всей линии, в розницу. Здесь можно было купить пуговицы всех сортов, кружева, ленты, нитки, иголки, напёрстки, венчальные свечи, галстуки, перчатки, носовые платки, чулки, носки, манишки и прочее в этом роде. В лавках, напротив “овечек”, продавали обувь, шляпы, картузы, ковровые платки, шали, дамские пояса, веера и всё то, что называется модными товарами. Запрашивали втридорога, а товар старались “всушить” не особенно доброкачественный. Строптивного покупателя провожали смехом или оскорбительными остротами. Распушенность была полная, и, несмотря на это, Ножевая линия с утра до вечера кишела покупателями, а главное – покупательницами”.

Не менее выразительные названия носили остальные ряды Гостиного двора: Узенький, Широкий, Шляпный, Шёлковый, Серебряный, Медный, Скобяной, Иконный, Кружевной, Лапотный, Суконный, Суровский, Сундучный, Квасной, Ветошный¹.

Из-за опасений пожаров в лавках Гостиного двора было запрещено иметь печи, а также пользоваться осветительными приборами. Для тех, кто

¹ По поводу наименований рядов И. А. Белоусов замечал: “Правда, некоторые ряды, сохранившие своё название с отдалённого прошлого, в последнее время не торговали теми товарами, от которых получили своё название. Так, Ножевая линия вела торговлю модными и галантерейными товарами”.

здесь трудился, как отмечал И. А. Слонов, это создавало далеко не комфортные условия:

“Свет в ряды проникал сквозь так называемые рядские фонари с низкими грязными рамами с разбитыми стеклами, чрез которые сыпалась на головы проходящих снег и дождь. Солнца совсем не было видно, вследствие этого в рядах всегда ощущалась пронизывающая сырость, от которых большинство торгующих страдали ревматизмом и другими простудными болезнями”.

В последние годы существования Гостиного двора некоторые хозяева отгораживали в своих лавках маленькие застеклённые отсеки, обогреваемые теплом от керосиновых ламп.

Даже в самые жаркие дни в рядах было не просто прохладно, а по-настоящему холодно, поскольку в узкие проходы солнце почти не заглядывало. Положение усугублялось тем, что по давно заведённому обычаю полы в лавках при уборке обильно поливали водой. Купцы, изнемогавшие от зноя, пока добирались до “города”, в лавках были вынуждены облачаться в тёплую одежду. И ещё одна характерная деталь: если в летнюю пору большинство горожан освежались квасом, то в “рядах” купцы согревались чаем, для чего они отправлялись в ближайший трактир.

Само собой разумеется, точно так же они поступали и зимой, причём, по свидетельству И. А. Слонова, чаепитие могло затягиваться на долгое время:

“Зимой в сильные морозы хозяева весь день сидели в трактире, а мёрзнуть в лавках великодушно предоставляли приказчикам и мальчикам”.

В юмористической картинке “У лавок” изображена сцена передачи купцом полномочий своему служащему:

“Девятый час утра и двенадцать градусов мороза. У дверей угловой, только что отпертой мебельной лавки стоит брыластый, с подбитым глазом парень в барашковой шапке и барашковом, низко подпоясанном красным кушаком тулупе. От холоду паренёк ёжится, подпрыгивает и, похлопывая в ладоши, напевает... <...>

Через секунду он становится в театральную позу, жестикулирует руками и неистово орёт:

*Ах! донны вы мобили!
В лавке нет мебели:
Всю пораспродали
Деньги все проп!..*

В этот момент от неожиданного толчка в спину голос певца обрывается... Отлетев два-три шага вперёд, паренёк схватывает с налёту комок снега и воинственно оборачивается.

— Вам чево-с, дянька, угодно-с? — быстро отбросив ком в сторону, спрашивает он, снимая шапку.

— Что орёшь-то... трубадур ты безобразный! — сердито говорит дядюшка.

— Так-с, что-то вспомнилось это, примером, на киятере... опять же-с Патти, и всё этакое...

— Вот я-ти дам Патю! — свирепствует дядя.

— В эфтем ваша-с воля, а зазорного тут как есть ничего нетути-с и даже большие деньги платят, — оправдывается певец.

— Где ночь-то, шатун, шатался? — не слушая оправданий, вопрошает дядя грозно.

Племянник молчит.

— Чего ж молчишь-то, оглашенный?

Паренёк переминается.

— Сказывай! Где шатался? Рас-ши-бу! — наступает дядюшка.

— Мы, сударь дянька, перед вами и помолчать можем, — кротко произносит племянничек.

— То-то! Помолчать можем, — выговаривает дядя, смягчаясь, — теперича я к Фоме Карпычу пойду; так ты, смотри у меня, от лавки не отходи, и ежели теперича Ефремыч поспрашает, посылай в Пятницкий; мы там будем.

Старик проходит дальше, паренёк почёсывает спину и, гримасничая, грозит ему вслед кулаком, потом плюёт.

— Эка харя! Кикимора свежепросольная! Жук маринованный! — кричит он громко”.

Несмотря на запрет, приказчик поддался уговорам купца из соседней лавки и отправился с ним трактир. По закону жанра всё заканчивается вневильной ситуацией:

“В комнату влетает половой.

– Дядюшка ваш с Фомой Карпычем сейчас подъехали-с, – говорить он Щичилкину.

Щичилкин испуганно вскакивает с места, быстро накидывает на себя лисью шубу, нахлобучивает на свою голову огромную шапку субъекта и стремглав бросается к выходу. Старик бежит вслед за своей шубой; купчик истерически хохочет.

– С нами крестная сила! – вскрикивает входящий в двери дядюшка. – Это что ж теперичастряслось у вас такое, чудное! – спрашивает он у буфетчика.

– Так-с, – отвечает ухмыляющийся трактирщик, – это-с шутки они меж собой шутят-с.

Дядюшка успокаивается и требует малость китайской травки¹ с лисабончиком²”.

Не только в холода, но и в тёплые дни, как вспоминал И. А. Слонов, совместные посиделки за чайным столом представителей торговой Москвы были неотъемлемой частью купеческого распорядка дня:

“Как только отпирали лавки, соседи собирались в ряду кучками и сообщали разные новости, а то так просто рассказывал друг другу, кто как вчера провёл время.

Такие соседские беседы назывались “чёской”, – продолжать её шли компанией в трактир, где за чаем сидели 2–3 часа. Затем уходили в свои лавки. Побывав в них недолго, собирались снова в компании и опять уходили в трактир. <...>

Многие небогатые купцы не имели ни приказчика, ни мальчика, но в трактир ходили аккуратно каждый день по два раза и сидели там довольно долго. Уходя в трактир, купец не запирает лавку и даже не затворяет её, а просто ставил поперёк дверей метлу и уходил спокойно. Если в его отсутствие приходил покупатель, то, увидев в дверях вместо купца метлу, он безропотно уходил обратно, оставляя покупку до другого раза”.

Совместные сидения у самовара породили в купеческой среде выражение, характеризующее степень знакомства и доверительности отношений друг с другом: “Вместе чай пили”.

Кроме согревания чаем, по мнению А. С. Ушакова, противостоять морозам владельцам лавок помогали физические кондиции, необходимость одеваться соответственно доходам и званию в добротную шубу, а также привычка употреблять спиртное, когда душа пожелает:

“Купцу, залитому жиром, тепло одетому, да ещё по большей части выпившему, разумеется, тепло...”

Находились купцы, у которых выпивка зимой “для сугреву” перерастала во всесезонную привычку. Один из них запомнился И. А. Слонову: “некто Батраков, торговавший готовым платьем, ежедневно с утра уходил в “Бубновскую дыру”³, откуда возвращался всегда вечером красный, как варёный рак”.

Зачастую компанию ему составляли коллеги из иконного ряда.

В “Бубновской дыре” некоторые купцы ухитрялись пропивать целые состояния”.

Разумеется, далеко не все торговцы считали возможным оставлять свои владения совсем без присмотра, поэтому в сильные морозы им приходилось бороться с холодом наравне с подчинёнными. В такие дни, как вспоминал И. А. Слонов, в “рядах” практиковались массовые спортивные состязания: разбившись на команды, работники торговли с громкими криками тянули канат или играли “в ледки” – ногами гоняли из конца в конец кусок льда. В романе Д. И. Стахеева “Замоскворецкие тузы” описана игра в своеобразный русский футбол:

“Зимой купцы и их приказчики при затишьи в торговле, случалось, играли здесь в мяч, наскоро сделанный из обёрточной бумаги, перевязанной

¹ В то время так называли чай.

² Дешёвое сладкое вино, зачастую поддельное, пользовавшееся большим спросом у невзыскательной публики.

³ Так называли нижний зал в трактире Бубнова, находившемся на углу Никольской и Ветошного переулка.

бечёвками, и, кидая его ногой, тузили друг друга кулаками по спинам и плечам не столько для развлечения, сколько для того, чтобы согреться. Их тучные фигуры в высоких меховых шапках, в валенках, в шубах, опоясанных кушаками и высоко поднятыми воротниками, казались какими-то странными чудовищами, напоминавшие грубые изваяния доисторических времён.

Иной здоровенный детина, приказчик, случалось, двинет своего хозяина кулаком в бок, да так ловко, что тот закричит от удара и заворчит:

– Эка обрадовался, глупая голова, нешто так можно со всего маху!..

– Морозно больно, – оправдывался тот.

– Гляди – морозно! Я те такого морозу задам, будешь помнить!..

– Простите!.. Оно точно, что неаккуратно вышло!.. Верьте совести, я без намерения!..

– Ещё бы с намерением!.. дубина!

Бумажный ком летал, подбрасываемый в разные стороны, купцы подпрыгивали, стараясь уклониться от его движения, и весело посмеивались один над другим, согреваясь, по их словам “за дешёвую цену”.

– Ну, и холодно, братцы!..

– Да, климат ноне строгой!..”

Кроме холода, зимняя пора создавала обителям “рядов” и такое неудобство в работе, как короткий световой день. При описании будней Гостиного двора Д. И. Стахеев отметил и это обстоятельство: “Зимой в четвёртом часу купцы уже посматривают на тусклый свет, проникавший в ряды через узкую щель сверху, и тоскливо думают о том, что вечер уже близко, а дела сделано мало. Сумерки более и более сгущались, проход между лавками, местами заваленный грудами товаров в рогожных тюках, мешках и ящиках, начинал окутываться темнотой”.

Правда, купцы умудрялись и недостаток света обращать себе на пользу. Так, в некоторых лавках меховщиков специально затемняли стекла, чтобы в полумраке сбывать покупателям изделия с дефектами. Или, как в сцене из романа “Замоскворецкие тузы”, наступление темноты давало возможность неудачливому игроку выпутаться из проигрышной ситуации:

“Бывало в сумерки, приютившись около товарных кип у запертых дверей лавки на деревянных табуретах, купцы сживали, доигрывая партию в шашки, цена которой иногда назначалась в пятьдесят рублей. Другие купцы, тоже запершие свои лавки, следили за игрой и с нетерпением ожидали её окончания. По временам они взглядывали в узкую щель вверху рядов, как бы прося оканчивающийся день задержать на некоторое время наступление ночи. Оплывавший игрок, пользуясь благовидным предлогом, отказывался продолжать игру.

– Шабаш, брат. Не могу больше!

– Как? По какому резону?

– А потому, что шашек не видать.

– Врёшь. Доигрывай! Туго пришлось, так и шашек не видать стало. Мы, брат, тоже, сделай милость, понимаем, что к чему. Доигрывай: твой ход!

– Чудак человек! Как же я теперь, к примеру сказать, буду доигрывать, ежели шашки неявились?.. Не вижу я, понимаешь.

– Отчего же я вижу?

– Да, да. Это верно! – подхватывали другие. – Отчего же он видит, а ты нет?

– У него глаза моложе.

– Это, брат, один отвод, больше ничего.

– Толкуй с тобой.

– Значит, бросить? Так или нет?

– Само собой.

– В таком разе завтра цена вдвое. Понял?

– Ладно. Сыграем и сотенную, – важность небольшая!..”

Игра в шашки между купцами являлась такой же неотъемлемой частью повседневной жизни “города”, как утренние “чёски” и совместные чаепития. В записках И. А. Слонова отмечена особенность этих шашечных турниров:

“Среди игроков были настоящие виртуозы, игру коих собирались смотреть много любопытных, иногда державших за игроков крупные пари”.

В рассказе мемуариста о буднях Гостиного двора есть описание и, говоря современным языком, системы быстрого питания для тех работников торговли, кто не мог или не хотел отойти от лавки:

“Среди публики по рядам ходили многочисленные разносчики, носившие на головах в длинных лотках, покрытых тёплыми одеялами, жареную телятину, ветчину, сосиски, пироги¹, сайки и проч., при этом все разносчики на разные голоса громко выкрикивали названия своих товаров. <...>

Затем ещё были интересные типы “рядских поваров”. Они носили в одной руке большой глиняный горшок со щами, завёрнутый в тёплое одеяло, в другой руке корзину с мисками, деревянными ложками и чёрным хлебом.

Миска горячих вкусных щей с мясом стоила десять копеек. После еды миски с остатками щей и хлеба торговцы ставили на пол в рядах, около своих лавок, где их доедали бегавшие по рядам бродячие собаки. Потом приходил повар, собирал миски, тут же вытирал их грязным и сальным полотенцем и снова наливал в них желающим горячих щей”.

Качество съестного, продаваемого с лотков, москвичи того времени не переоценивали. В сценке “У лавки” приводится пример простого, но эффективного тестирования пирогов без привлечения сотрудников СЭС:

— Ай, купчики-голубчики! — возглашает вывернувшийся из-за угла пирожник. — С пылу! С жару! С огонёчку! Вечер были в печи, а и по сель горячи!

— У тебя с чем пироги-то? — спрашивает купчик.

— С чем, сударь, пожелаешь: со всяким материалом найдём для твоей милости, отвечает разносчик.

— С бархатом² у тебя есть?

— С бархатом нету-с: с бархатом об рождестве пекём; а ноне вот с морковой да с капусткой не желаешь ли?

— Капуста! Ну, брат, пусть ей будет пусто! Она дома нам пуще горькой редьки надоела; а то вот что, друг любезный: взаправду что ли пироги-то у тебя хорошие?

— Самые, сударь, наилучшие! Одно слово — заграничные: ни в одной Америке таких не сыщешь, — расхваливает торговец. — Сам бы я их поел, да деньги-то мне уж очень нужны!

— Коли так, то за весь, стало быть, твой товар, гуртом, значит, что возьмёшь?

— Без обиды, сударь, три четвертачка³.

— Получай, брат, шесть, — предлагает купчик, — что бы сейчас, значит, всё это пирожное самому тебе съесть!

Пирожник с омерзением поглядывает на свой товар и задумывается...

— Ну их в омут! — произносит он решительно. — От них ещё подохнешь, пожалуй!

Коммерсанты раздражаются хохотом”.

Не только торговые служащие, но и хозяева лавок не брезговали отведать разносолов, которые предлагали разносчики с лотками. Вот, например, наблюдение с натуры, отражённое Д. И. Стахеевым в его романе о жизни московского купечества:

¹ По воспоминаниям И. А. Белоусова, пирожники, обитавшие в Зарядье, наладили целую индустрию: “Одни из них выпекали жареные пирожки с самой разнообразной начинкой: в мясоеды — с мясом, с ливером, с капустой и яйцами, с молочной кашей, с творогом, а в постные — с рисом и рыбой, с капустой и луком, с грибами, с вареньем. Такие пирожки стоили 5 копеек пара. Выпекались ещё подовые пирожки с мясом, с рисом, с изюмом, с творогом и небольшие пирожки вроде ушков, начинённые мясом с луком; эти пирожки разносились в особых ящиках, внутри которых находились металлические бачки, в них-то в растопленном горячем масле и плавали эти пирожки. Торговец прямо руками доставал их оттуда и подавал покупателю. Пирожки эти были очень маленькие, но вкусные и продавались по одной копейке. Очень были распространены пирожки-расстегайки, в скромные дни они выпекались с мясом и луком, а в постные — с кусочками белуги, семги и с жирами, то есть с молоками... Расстегайчик клался на блюдечко, посыпался солью, перцем, смазывался несколькими каплями масла и заливался подливкой из рыбного или мясного бульона, который держался в особых металлических лужёных кувшинах с узким и длинным горлышком. Кувшины закутывались тряпками, чтобы подливка не остывала. Расстегайки продавались по 1 копейке и по 2 копейки, смотря по величине”.

² Возможно, это намёк на общеизвестную в то время анекдотичную историю, упомянутую И. А. Слоновым: “Мальчик ест жареный пирог с вареньем, в котором ему попался кусочек грязной тряпки. Он, обращаясь к пирожнику, говорит: “Дяденька, у тебя пироги-то с тряпкой...” Пирожник в ответ: “А тебе, каналья, что же, за две копейки с бархатом, что ли, давать?...”

³ Четвертак — серебряная монета номиналом 25 копеек.

“Продавец лососины, ветчины, телятины и т. п., чем питаются в рядах купцы, запивающие такие обеды десятками стаканов чая “в прикуску”, замедлял свой шаг, кося глазами направо и налево и придерживая рукой лоток на голове. Он уже не выкрикивал названий своих товаров, а думал только о том, как бы благополучно пробраться между кипами и не обеспокоить “грехом” какого-нибудь его высокостепенства, постоянного своего покупателя, тоже обедающего зачастую “всухомятку”, несмотря на то, что в амбарах у него товаров на сотни тысяч, а в десяти акционерных обществах он заправила и председатель. Случалось, и в поздние сумерки такая походная, так сказать, кухня производила торговлю.

– Постой-ка, милый человек, – останавливал иной раз эту кухню какой-нибудь высокостепенство, – чтой-то я никак есть хочу, дай лососинки кусочек побольше.

– Извольте для вашей милости завсегда с превеликим усердием... Вот полюбопытствуйте этот сорт – высокого достоинства товар!..

Торговец бойко действовал, размахивал фартуком, отирал тарелку, резал лососину и всё с такой быстротой и ловкостью, точно фокусы показывал.

Случалось, тут же сидела около лавки и жена его высокостепенства, тучная, расплывшаяся во все стороны женщина с мясистым подбородком в два яруса, одетая в просторный салоп на лисьем меху с собольим воротником, выехавшая в город “для воздуха” на собственной лошади, подобно ей тяжело дышащая и добравшаяся, переваливаясь уткой, до лавки мужа, чтобы вместе с ним возвратиться домой.

– Дай и мне, – говорила иной раз она, увидев на лотке продавца пищу, – и я что-нибудь съем...

– С нашим почтением... Пожалуйте... Что изволите пожелать?..

– Да уж я и сама не знаю... Разве вот ветчины кусочек или вот телятинки. Хороша больно у тебя телятина...

– Телятина, сударыня, такая – невозможно описать!

– Дай, пожалуй, кусочек... маленький... Что ты так много!

– Извините... Так замахнулся. Кушайте на здоровье”.

Впрочем, такой приём пищи по пословице “Семь раз поели, а за столом не сидели” не был единственно возможным. По многочисленным свидетельствам современников, не менее распространённым для купцов было посещение трактиров помимо дружеского чаепития. Речь идёт об устоявшейся традиции: переговоры в амбаре или лавке купец и покупатель партии товара завершали за совместным чаепитием. Одно из популярнейших мест делового застолья описал И. А. Слонов:

“Трактир Бубнова в жизни торговцев Гостиного двора играл большую роль. Каждый день, исключая воскресные и праздничные, он с раннего утра и до поздней ночи был переполнен купцами, приказчиками, покупателями и мастеровыми.

Тут за парой чая происходили торговые сделки на большие суммы”.

Это заведение было удобно тем, что торговым партнёрам, желавшим “спрыснуть” сделку, достаточно было перебраться в другой зал (в “низок”, как говорили москвичи):

“Внизу, под трактиром, в подвальном этаже помещалась знаменитая “Бубновская дыра”, куда вела узкая лестница в двадцать ступеней.

Помещение “дыры” состояло из большого подвала с низким сводчатым потолком, без окон, было перегорожено тонкими деревянными перегородками на маленькие отделения, похожие на парходные каюты. В каждом таком отделении, освещённом газовым рожком, стоял посредине стол с залитой вином грязной скатертью и кругом его – четыре стула. Другой мебели там не было.

В этих тёмных, грязных и душных помещениях ежедневно с самого раннего утра и до поздней ночи происходило непробудное пьянство купцов.

Эти “троглодиты” без воздуха и света чувствовали себя там прекрасно, потому что за отсутствием женщин там можно было говорить, петь, ругаться и кричать громко и откровенно о самых интимных и щекотливых предметах. Там кричали все. Поэтому за общим шумом и гвалтом невозможно было понять не только разговаривающих за тонкой перегородкой, но и сидящих рядом с вами. Общая картина “Бубновской дыры” была похожа на филиальное отделение ада, где грешники с диким криком, смехом, а иногда и с пьяными слезами убивали себя алкоголем... <...>

От винных испарений и табачного дыма атмосфера в “дыре” была похожа на лондонский туман, в котором на расстоянии трёх шагов ничего нельзя видеть...”

Трактир “Арсентьича” в Большом Черкасском переулке был не менее знаменит, но пользовался популярностью иного рода. В нём подавали ветчину и белорыбицу собственного приготовления, имевшие особый, неповторимый вкус. Московские купцы считали своим долгом попотчевать этим деликатесом иногородних покупателей, а чтобы отметить сделку отправлялись в настоящие значные места – в загородные рестораны.

В описании Китай-города А. С. Ушаков выделял ещё одно заведение, являвшееся центром деловой жизни: “Войдите, наконец, в Троицкий трактир в будничные дни, часа в два-три, и вы, смотря на это вечное, неуспокаивающееся движение, этот прилив и отлив, этот неумолкающий глухой шум, переговоры, сделки, покупки за неизменными тремя, четырьмя, пятью парами чая¹, легко поймёте, какою деятельною жизнью живёт Москва, как оригинальна эта жизнь и как трудно уловить её кажущееся однообразным выражение”.

Троицкий трактир находился рядом с Биржей, что делало его удобным местом для деловых переговоров. Детали описания этого заведения, сделанного в начале 1860-х годов, указывают на особенности менталитета купцов того времени: они не замечают антисанитарии, но весьма чувствительны к почитанию их общественного положения:

“Слова нет, кормят хорошо, стол чисто русский, но грязь, грязь и грязь, куда ни оглянись, и под столами, и на столах, воздух душный, спёртый, всюду воняет маслом, кухней, жара, духота, теснота, толкотня, ворохи шуб, чинопочитание, по карману и честь, неотъемлемое на чай и страшные цены. <...> Троицкий для тузов, в нём рубля на три можно действительно хорошо пообедать, но нечего и соваться туда с полтинником, даже с рублём сереб. – это там сущая безделка... <...> стакан кваса стоит 5 коп. сер. Цены на кушанье ставятся содержанием совершенно произвольно и достигают в большинстве блюд 75 коп. и 1 р., гораздо меньшее их число стоит 50 к. и ещё меньшее – 35. Карта почти круглый год не меняется и до крайности однообразна. Прислуга поставлена на разные ноги с посещающими. Смотри по состоянию и значению, общество дробится на несколько каст и рангов, и даже комнаты носят названия дворянской, армянской, немецкой и т. п. Порции не для всех одинаковы: лицам, занимающим верхние ступени городской службы, они подаются в больших размерах и особенные, простому человеку идут жалые; тузам идёт особая посуда, простому классу – обитые тарелки и ломаные вилки; с богатых людей получают “как прикажете”, с бедняка тянут до последней копейки”.

После заключения сделки за чайным столом неписанные правила купеческого сообщества предписывали продавцу угостить покупателя обедом. Герой А. М. Пазухина в “картинке с натуры” “Молодые” так объяснял супруге эту особенность своей профессии:

“Сичас покупателя иногороднего надо угостить или нет? Конечно, ежели степенный он, так его накормить в “Большой Московской” обедом, и вся недолга, а ведь другой воздуха просит, ну, и повёз его в парк”.

Обед в “Большой Московской гостинице” означал, что коммерсанты всего лишь переместились в одно из заведений Охотного ряда, где кормили вкусно и сытно. Это могли быть и популярнейший “Большой Патрикеевский трактир” И. Я. Тестова, и трактир С. С. Егорова с его знаменитым блинным отделением.

Когда же в старой Москве говорили “прокатимся в парк взять воздуха”, то подразумевали поездку в Петровский парк. При этом конечная цель могла быть разной. В одном случае действительно просто катались по тенистым аллеям, предназначенным именно для проезда экипажей. Молодой же купец имел в виду иное: он, чтобы угодить желанию покупателя, повёз того обедать (с переходом в ужин до трёх часов ночи) в какой-то из ресторанов, находившихся в Петровском парке, – “Яр” или “Стрельну”. А в ответ на наивную просьбу жены посвятил её в ещё одну тонкость купеческого делового этикета:

¹ Порция, подаваемая в трактирах, – два чайника, похожие, по выражению И. С. Шмелёва, “на большие яйца: один – с кипятком, другой, поменьше, – с заварочкой”.

“— Мог бы и меня взять.

— Это в парк-то?

— Да.

Молодой засмеялся.

— Вот так-так! — проговорил он. — Да какой же дурак поедет со мною, ежели я на буксире жену за собой потащу? Человеку нужна воля, простор ну-жен, а тут баба!.. Не дело говорите, Верочка.

— Во-первых, я не Верочка, а Машенька, — обидчиво заметила молодая. — Второй раз меня Верочкой называешь, это не даром, голубчик.

— Да разве привыкнешь сразу-то?

— Однако я привыкла, ни разу не назвала тебя Мишенькой или Колей.

— Совсем линия не та. Ваше дело дома сидеть, а мы по своим коммерческим делам мало ли где бываем.

— И у Верочек?

— Очинно просто. Сичас покупатель потребуе хор, ну, и зовёшь, а в хору, известное дело, и Верочки, и Катеньки, и Любочки, и Софочки, ну, и обверисься за вечер-то”.

Купцы, которых в Москве называли “широкими натурами” (швырявшие на кутежи сотни, а то и тысячи рублей), в загородном ресторане могли не только “обвериться”. Богатей, дошедший до определённой кондиции, — “протокольного состояния” — начинал “чертить”, то есть “гонять чертей”.

Популярнейший в своё время писатель-юморист И. Ф. Горбунов чеканно запечатлел образ любителя пуститься во все тяжкие: “широкая натура пила “Лиссабон”, приводивший человека в неистовство; пила шампанское, приготовлявшееся в городе Кашине, одной бутылки которого достаточно было для того, чтобы привести человека в остервенение; била половых, била маркёров, била посуду и зеркала, целовалась с арфистками, становилась на колени перед цыганками и щедро оплачивала зорко следившего за нарушением общественной тишины и спокойствия квартального надзирателя.

Бывали и такие широкие натуры, которые, как говорится, смешивали грех со спасением”.

К последнему замечанию яркой иллюстрацией служит рассказ Н. С. Лескова “Чертогон”. Его герои, богатейшие московские тузы, абонировали загородный ресторан исключительно для своей тесной компании, чтобы без помех отдохнуть от дел праведных. Апофеозом кутежа явилась охота на “фараончиков” — цыганок из хора, прятавшихся среди зелени зимнего сада:

“Было сражение и рубка лесов: слышался треск, гром, колыхались деревья, девственные, экзотические деревья, за ними кучею жались в углу какие-то смуглые лица, а здесь, у корней, сверкали страшные топоры и рубил мой дядя, рубил старец Иван Степанович... Просто средневековая картина.

Это “брали в плен” спрятавшихся в гроте за деревьями цыганок, цыгане их не защищали и предоставили собственной энергии. Шутку и серьёз тут не разобрать: в воздухе летели тарелки, стулья, камни из грота, а те всё врубались в лес, и всех отважнее действовали Иван Степаныч и дядя.

Наконец твердыня была взята: цыганки схвачены, обняты, расцелованы, каждый — каждой сунул по сторублевой за “корсаж”, и дело кончено...

Да; сразу вдруг всё стихло... всё кончено. <...>

Ресторан представлял полнейшее разорение: ни одной драпировки, ни одного целого зеркала, даже потолочная люстра — и та лежала на полу вся в кусках, и хрустальные призмы её ломались под ногами еле бродившей, утомлённой прислуги. Дядя сидел один посреди дивана и пил квас; он по временам что-то вспоминал и дрыгал ногами. Возле него стоял поспешавший в классы Рябыка.

Им подали счёт — короткий: “гуртом писанный”.

Рябыка читал счёт внимательно и потребовал полторы тысячи скидки. С ним мало спорили и подвели итог: он составлял семнадцать тысяч, и просматривавший его Рябыка объявил, что это добросовестно. Дядя произнёс односложно: “Плати”, — и затем надел шляпу и кивнул мне за ним следовать”.

¹ Зачастую купеческие буйства в ресторане завершались вызовом полиции и составлением протокола.

После кутежа герой рассказа отправился в один из монастырей, чтобы перед чудотворной иконой молить Господа о спасении души¹. И это вполне счастливый конец истории.

Иные “чертогоны” продолжали разрушительные чудачества и по возвращении домой. По Москве ходили истории о “Кит Китычах”, которые в пьяном виде неуклонно следовали принципу “Моему ндраву не препятствуй!” Один, например, наотрез отказался въезжать во двор через ворота, а потребовал разломать пролёт капитального забора. Другой среди ночи приказал затопить ему баню ... в погребе. Это не говоря уже о “тасках” (кулачных расправах), устроенных членам семьи и прислуге, — то было вполне обычным делом.

Однако нельзя не отметить, что в те времена потребление спиртного в больших количествах для купца было не менее важным, чем другие профессиональные качества. Вот любопытное замечание П. А. Бурьшкина по поводу удачной карьеры в России Л. И. Кнопа²:

“Есть мнение, что своим успехом Кноп обязан, прежде всего, своему желудку и способности пить, сохраняя полную ясность головы. Нравы торговой Москвы того времени были ещё почти патриархальными, и весьма многие сделки совершались в трактирах за обеденным столом или “за городом, у цыганок”. Кноп сразу понял, что для того, чтобы сблизиться со своими клиентами, ему нужно приспособиться к их привычкам, к укладу их жизни, к их навыкам. Довольно быстро он стал приятным, любимым собеседником, всегда готовым разделить дружескую компанию и способным выдержать в этой области самые серьёзные испытания”.

Сам Кноп, видимо, гордился стойкостью в потреблении спиртного. После кончины одного из своих друзей, с которым было выпито много вина, — фабриканта С. И. Хлудова — он говорил: “Немец русского перепил, а тот и умер...”

Некоторое представление об уровне “игроков высшей лиги”, с которыми приходилось соревноваться Кнопу, даёт фрагмент рассказа П. И. Щукина “Как в старину пили московские купцы”:

“Московский городской голова Михаил Леонтьевич Королёв, Алексей Иванович Хлудов, Павел и Дмитрий Петровичи Сорокоумовские, Иван Иванович Рогожин, Василий Гаврилович Куликов и Николай Иванович Каулин ходили обыкновенно пить шампанское в винный погребок Богатырёва, близ Биржи, на Карунинской площади. Прежде всего, Королёв ставил на стол свою шляпу-цилиндр, затем начинали пить, и пили до тех пор, пока шляпа не наполнилась пробками от шампанского; тогда только кончали и расходились”.

Заметим, что это описание дружеских посиделок с употреблением одного только шампанского. Во время “вспрыскивания” сделок купцы пили водку и вина, “сколько душа просила”, неограниченно “освежались” коньяком и, как они выражались, “лакировали” всё выпитое “шипучкой” (шампанским), пивом³ или каким-нибудь “лампопо”⁴.

В фельетоне “Как веселится москвич?” приводится пример купеческого трактирного застолья со смещением различных видов горячительных напитков:

“Из дневника его степенства Тит Тытыча Брускова, первой гильдии купца и разных орденов вплоть до эфиопского — кавалера...”

¹ В письме издателю Н. С. Лесков упомянул, что прототипом главного героя послужил миллионер А. И. Хлудов. Кроме кутежей, он прославился собранной им уникальной коллекцией древнерусских рукописей и старопечатных книг. По мнению П. А. Бурьшкина, его деловая репутация была безупречной: “По отзывам людей, близко его знавших, это был “человек неподкупной честности, прямой, правдивый, трудолюбивый, отличавшийся силой ума и верностью взглядов”.

² Кноп Людвиг (в России — Лев Герасимович) (1821–1894) — выходец из Бремена, занимался поставками английского современного оборудования для текстильной промышленности. Масштаб его деятельности характеризует ходившая в то время пословица “Что ни церковь — то поп, что ни фабрика — то Кноп”.

³ Выпивохы называли пиво “лак” и, указывая официанту на подругу по застолью, могли скаламбурить: “Лакей, принеси лак ей!”

⁴ По описанию Н. В. Давыдова, “Лампопо” пили только особые любители или когда компания до того разойдётся, что, перепробовав все вина, решительно уж не знает, что бы ещё спросить. Питьё это было довольно откровенно на вкус и изготавливалось таким образом: во вместительный сосуд — открытый жбан — наливалось пиво, добавлялся в известной пропорции коньяк, немного мелкого сахара, лимон и, наконец, погружался специально зажаренный, обязательно горячий сухарь из ржаного хлеба, кипевший и дававший пар при торжественном его опускании в жбан”.

“... Выпито было знатно! Спервоначала с кумом Митрием Евстигнеевичем засели “под машину”¹ у Тестова и соорудили лёгонькую закуску: балычка провесного, икорки свежей, поросёнка в сметане, гуся с капустой да ветчинки порцийев пяток... “Смирновки” выпили три посуды, портвейнцем побаловались, а на заглядку дербалызнули коньячишку...

Кум Митрий Евстигнеевич по коньяковому делу специалист и выбрал напиток самый подходящий – коньяк №2, “жёсткий”.

– Это, – говорит, – самый что ни на есть натуральный, потому у нас в Кашине приготавливается! И жёсткости в ём много сидит от природы – такая уж “лоза” произрастает в Кашине!

Поверил на слово, но вышла махонькая коньяковая ошибка: кум Митрий Евстигнеевич ненароком трюму ахнул, я же впал в огорчение чувств и трём половым горчицей рожу перемазал... .

Хотели было проехаться в Манеж, но по нечаянности угодили в участок. Впрочем, и там было довольно весело... .”

Хорошо, если, подвыпив, купец не трогал окружающих, как это бывало с И. К. Агеевым. Он всегда приходил в “Яр” и проводил вечер в одиночестве. Молча ел и пил и, только закончив ужин, спрашивал: “Сколько?” – расплачивался и требовал шампанского. Когда приносили, Агеев хватал бутылку и бросал её в зеркало, а затем, не моргнув глазом, спрашивал: “Сколько?” Платил за ущерб и молча уходил.

Гораздо хуже было, когда пьяные купчики помимо зеркал начинали колотить всех, кто попадался под руку. В большинстве случаев их жертвами становились официанты или девицы, напросившиеся в компанию. Однако могло достаться и публике. В рассказе А. М. Пазухина “Старое вспомнил” купцы хвастались своими подвигами в былые времена:

“Такой карамболь учинили – страсть!.. Пили, это, сперва водку, потом на коньяк приналегли и дошли до высоких чинов пьяного звания, дошли да и фокус вышел у нас... Васька сидел, это, искоренял коньяк, да и говорит: “Желаєте, говорит, я вам фокус покажу?” – Покажи, мол... .

Встал наш Васька и идёт вон к тому столику; а там какой-то господин, вроде чиновника... Подошёл к нему Васька и спрашивает: “Вы, господин, химию знаете?” Тот ему отвечает, что нет, мол, не знаю... “Как же, говорит Васька, господин, вы очки носите, волосья у вас длинные, а химии вы не знаете? По этому по самому вас надо весьма бить... .”

Господин было в амбицию, а Васька возьми его за волосья да с диванато вот на зтолько!.. “Ребята, – кричит, – вот фокус модной конструкции! Игра пустыми шарами или отделение головы от туловища!..” Ну, и пошёл у нас греко-болгарский вопрос... Сейчас это полиция, протокол и всё подобное... Такой бульон с пашотом вышел, что беда! Насилу-то господин на двух радужных² помирился: “А то, – кричит, – засужу! У меня, – говорит, – дядя потомственный почётный дворянин и даже на генеральной вакансии!..” Весело, бывало, жилось, разнообразно! – заключил свой рассказ купец”.

Любопытно, как дебоширы обосновывали свое хамское поведение:

“– Дела веселили, торговля была, ну, и было твоему сердцу вольготнее... Как, бывало, выпьешь, так кулаки у тебя и чешутся, так подходящей скулы и ждётся... И мировую заплатить не тяжело, потому дённая выручка-то у тебя во какая, домой не унесёшь!.. А ноне тихо, ноне купец приник к земле и думает, как бы это себе щи без говядины на солнце сварить, а не то что чужие скулы пробовать... .”

Вплоть до начала XX века на страницах юмористических журналов нередко можно было встретить карикатуру на купца – ресторанного хулигана. Образ был стандартным: мужчина типичного купеческого облика, с солидным брюхом, в долгополом сюртуке, на ногах – сапоги, вооружившись бутылками с шампанским, громит всё кругом.

Впрочем, иногда пьяная компания ограничивалась относительно безобидными шутками: раздетую дамочку вытаскивали из кабинета в общий зал,

¹ Просторечное название механического органа либо оркестриона – устройства, совмещавшего в себе различные музыкальные инструменты, что позволяло ему воспроизводить даже сложные произведения.

² “Радужная”, “катенька” называли банкноту в 100 рублей из-за цвета и помещённого на ней портрета Екатерины II.

официанту мазали лицо горчицей (это стоило 10–20 руб.), кого-нибудь из прихлебателей бросали в бассейн с живой рыбой. Персонажи рассказа А. М. Пазухина всего лишь занялись рукодельем:

“Пришли и без всякого сомнения стали пить лафит... Пили, ели, опять пили и видим, Сонечка у нас готова: глазки это закрыла, головку свесила, отодвинулась на спинку дивана и спит... Я было ей хотел из перцу “гусара”¹ в нос пустить, а Егор Митрич и говорит: “Стой, говорит, мы с ей другую водевиль сыграем! Не спать сюда пришли, так надо её наказать...” Сейчас к Танечке: “Есть у вас иголка?” – Есть. – “Пришивай барышню к дивану!

Танечка достала иголку, ниток нам подали молодцы, и пришили мы сонечкино платье и все прочие дамские принадлежности, вроде там мантильев и оборок разных, к диванной материи... Пришили – и за другой стол... “Эй, – зовём, – человек, заведи машину!” – “Какой номер-с?...” – “Самый громогласный, с барабаном!...” Трр, трр, фю!.. Завели... Как грянет эта машина во все трубы, аж стекла задрожали!.. Проснулась Сонечка, огляделась... Видит – одна, компании нет... А мы сидим за уголком да смотрим, со смеху еле живы!.. Глядела барышня, глядела и хотела было идти... Раз – стоп!.. Другой – тпру!.. Кэээк она завопит, кэээк закричит!.. Ха, ха, ха!.. Из всех залов народ сбежался!.. А она орёт!.. “Ой, кричит, приклеили меня! Ой, невидимая сила держит!..” Умора такая была, что меня от хохоту водой отливали!..”

И что характерно, в купеческой среде распространённым объяснением пьяных чудачеств было утверждение, что до “протокольного состояния” дело дошло как-то само собой. Так, судя по признанию одного из купцов, в загородном ресторане они с товарищем оказались под воздействием непреодолимой силы:

“Говорил Ферапонту Матвеевичу, что опять в “Яре” окажемся... А он: да мы к Бубнову в трактир только на часок зайдём, чайку попьём²... Вот и до чаёвничались...”

Вполне закономерно, что на следующее утро таким жертвам рока приходилось восстанавливать работоспособность всякого рода проверенными средствами. Кто-то следовал совету купца Хлюпина, который, сам подвыпив, имел привычку просвещать ресторанный публику. Подойдя к какой-нибудь компании, он громогласно вещал:

“А знаете ли вы, как полезно употребление хорошего огуречного рассола? Приготовленного хозяйственным способом... с дубовым и смородиновым листом, чебром, укропом, эстрагоном, перцем, хреном или чесноком... Поэтому я всегда своим знакомым советую после приятного перепоя пить его стакан два натошак...”

Сторонники способа выбивать клин клином обращались в знаменитую квасную лавку³, описанную А. М. Герсоном в одной из его зарисовок с натуры:

“Летний жаркий день. Понедельник. В Сундучном ряду; в лавке, где торгуют квасом, большое скопление народу. Хозяин и прислуга не успевают удовлетворять требования посетителей. Раздаются возгласы: “полбутылки шей”⁴,

¹ В бумажный кулёчек насыпали перец или табак и вставляли спящему в ноздрю.

² Автор книги “Москвичи дома, в гостях и на улице” утверждал: “Москвич не имеет обыкновения приглашать на водку; он приглашает на чай; несмотря на то, что, пригласив вас пить чай, в самом-то деле разумеет что-нибудь другое, только не чай, а чай – это так, деликатное приглашение на водку и т. п.; в некотором роде благовидный предлог, эгида, под которой укрываются москвичи”.

³ “За несколько шагов до квасной лавки обдаст вас сырой свежестью погреба, и ягодные газы начинают вас щекотать в ноздрях. <...> В просторной лавке без окон, тёмной, голой, пыльной, с грязью по стенам, по крашенным столам и скамейкам, по прилавкам и деревянной лестнице – вниз в погреб – с большой иконой посредине стены, – всё покрыто липким слоем сладких остатков расплёсканного и размазанного квасу. Было там человек больше десяти потребителей. Молодцы в чёрных и синих сибирках, пропитавшихся той же острой и склизкой сыростью и плесенью, – одни сбегали в подвал и приносили квас, другие – постарше – наливали его в стаканчики-кружки, внизу пузатенькие и с вывернутыми краями. Такие стаканчики сохранились только в квасных, у сбитенщиков да по селам, в харчевнях и шинках”. – П. Д. Боборыкин. “Китай-город”.

⁴ Сорт кваса, приготовленного из пшеничной муки, ячменного и ржаного солода; из-за сильной насыщенности газом бутылки с ним закупоривали на манер шампанского. Считался одним из эффективнейших средств борьбы с похмельем.

малинового стакан, эй, пироги, ветчина!” и проч. и проч. За столами сидит самая разношёрстная публика: тут и военные с жёнами, и чиновники, и купцы, и за одним столом даже два еврея. <...>

В лавку вбегает артельщик.

– Пожалуйте Петру Мартынычу бутылочку и разбавки, только поскорее.

– Разбавки позабористей?

– Обнаковенную-с.

– Аль было что вчера?

– Воскресенье.

– Ну, так горлодеру надо. Пожалуйте, кланяйтесь.

<...>

– Михаил Сергеевич! – обращается вновь вошедший молодой человек в очках к хозяину, – почёт и поклон.

– А, Александр Максимыч! Как живёте, сударь?

– Ничего, трогаемся. Пожалуйте-ка составу.

– Понедельничного?

– Да, полагаю.

– Что же? Происходило что вчера?

– Происходило. На могилке были...

– О?! Так покрепче надо.

– Само собой...”

Привычка купцов отмечать любое событие обильными возлияниями зачастую делала их героями анекдотов. Вот, например, описанное И. А. Белоусовым ежегодное торжество, связанное с почитанием икон – покровительниц торговых рядов:

“Интересную картину представлял “город”, то есть все торговые пункты центра Москвы, включая Старую и Новую площади, в конце августа и в начале сентября, когда купечество, закончив свои торговые дела на “Всероссийском торжище” – Нижегородской ярмарке, – возвращалось в Москву. Тогда во всех торговых пунктах служились торжественные благодарственные молебны с водосвятием перед иконами, которые висели в каждом торговом пункте, в каждом ряду. На эти молебны привозились московские святыни: огромная икона Иверской Божьей Матери из часовни у Иверских ворот, такая же большого размера икона Спасителя из часовни у Москворецкого моста, мощи Пантелеймона из часовни на Никольской улице; из Успенского собора – икона Владимирской Божьей Матери и “Гвоздь Господень”; из местных храмов приносились хоругви и чтимые иконы. Специально для установки этих святынь устраивались из белого полотна палатки, украшенные цветами и зеленью, приглашались соборные протоиереи и лучшие хоры певчих – Чудовской и Синодальной”.

Дополняет картину религиозного праздника, позволяя увидеть её под другим углом, свидетельство И. А. Слонова:

“На рядских молебнах денег собирали много. Несмотря на большие расходы, их оставалось достаточно для угощения купцов в трактире Бубнова. После рядских молебнов купцы, по обыкновению, устраивали большие кутежи в загородных ресторанах – у Яра, в Стрельне и других местах. Однажды произошёл такой случай: после молебна в Ветошном ряду и последовавшего за ним обильного завтрака в трактире Бубнова шесть купцов поехали освежиться за Тверскую заставу в Стрельну. <...>

Находясь в саду Стрельны под живым впечатлением тропической флоры, купцы напились там до невменяемости и под предводительством князя М. тут же решили немедленно ехать в Африку, охотиться на крокодилов... Из Стрельны они отправились на лихачах прямо на Курский вокзал, сели в вагон и поехали в Африку на охоту...

На другой день рано утром они проснулись близ Орла и были очень удивлены, зачем они в вагоне? куда их везут?

Ответить им на это никто не мог, а сами они ничего не помнили...

Недоразумение их объяснила случайно найденная в кармане одного из охотников записка “маршрут в Африку”. Тут только они вспомнили молебен, завтрак у Бубнова, Стрельну и охоту на крокодилов”.

Позднее возвращение купца домой было связано с деловым обедом, перешедшим в загул. Порой сами условия коммерческой деятельности заставляли его заниматься делами до поздней ночи. Герой романа “За-

москворецкие тузы”, появляясь к полуночи, объяснял истомившейся в ожидании супруге:

— Нельзя иначе. Дела задержали... После запора лавки местах в пяти перебивал: с тем — чай, с другим — чай, а без этого нельзя, сама знаешь, дело торговое, не хочешь да пьёшь.

— Неужто, Захар Прохорович, так всю жизнь и будем маяться? На что это похоже, сам посудит!

— Зачем всю жизнь? Статочное ли это дело! Вот, Бог даст, оперимся и в настоящую силу войдём. Теперь мы за покупателем бегаем, по всем подворьям его, как зверя пушистого, выслеживаем, а потом с Божией помощью доживём и до той поры, когда он за нами будет ухаживать.

— Да когда же этого дождёшься? Который год, я смотрю, мечешься с утра до ночи, только и вижу тебя, когда спать ложишься, а дела всё в прежнем положении.

— Что ты говоришь? Как в прежнем положении? Ты припомни, что мы имели, когда ты за меня выходила, и сравни, что было тогда, что — теперь. Не видишь разве, сколько теперь у нас амбаров с товарами?.. Ты, Анна Фёдоровна, не ропчи... Слава Богу, всё хорошо идёт...”

Интересную бытовую деталь, характеризующую семейный уклад в купеческом доме, приводит Д. И. Стахеев:

“В долгие зимние вечера, в ожидании возвращения Захара Прохоровича “из города”, самовар оставался в столовой иногда часов до десяти. Его то доливали, то подбавляли углей, то заменяли другим, дожидавшимся своей очереди на кухне около железной трубы, выходявшей через чёрную лестницу на крышу. Этот другой, как дежурный, всегда был готов к услугам, налит водой, наполнен углями и должным запасом щепок; оставалось только зажечь растопку, и через семь-восемь минут, при сильной тяге трубы, вода в нём закипала ключом. Остывший его собрат возвращался на кухню, безмолвный и точно сконфуженный, находящийся до некоторой степени как бы в пренебрежении у всех; а он, полный огня и кипящей воды, отправлялся на его место, и горничная, идя с ним в столовую, морщилась и отворачивала лицо в сторону от его паров. Пока он клокотал в столовой, стоя на медном блестящем, как зеркало, подносе, сам не менее блестящий и как бы гордый своим положением, — его остывший собрат уже стоял около железной трубы, наполненный водой и углями”.

Замоскворецкий купец, заработавшись до ночи, своим поздним возвращением беспокоил только домашних. Однако среди коммерсантов-трудоголиков находились такие, кто считал возможным после трудового дня ещё и навестить друзей. Об одном из них писал П. И. Щукин:

“Часто у нас гостила приятельница матери Анна Леонтьевна Шустова, брат которой, Николай Леонтьевич, имел в Москве водочный завод. Очень занятый, Николай Леонтьевич являлся к нам лишь по вечерам, иногда даже тогда, когда мать уже была в постели; но для него она вставала, одевалась и спускалась в столовую, где беседовала с ним до поздней ночи. Мы прозвали Николая Леонтьевича “каменным гостем”.

По примеру дворян, некоторые купцы устраивали в определённые дни недели званые обеды. Такой порядок, например, был установлен с доме Щукиных (но с оговоркой):

“По четвергам у нас обыкновенно обедали несколько человек родных и знакомых. <...>

Отец, человек хлебосольный, любил приглашать к обеду гостей, но не любил, если кто сам напрашивался на обед. Так, помню, раз Константин Августович Тарновский сказал отцу: “В четверг я приду к вам обедать”, — на что отец ответил: “Мы будем очень рады, но только нас дома не будет”.

Бывая на обедах у миллионера Солдатёнкова, П. И. Щукин отмечал их особенность, связанную с характером хозяина дома: “Козьма Терентьевич радушно принимал и угощал тонкими обедами; но старея, он становился скупее и стал приглашать к обеду не более двух-трёх человек. На одном таком обеде, *en petit comité*¹, мой брат Николай сказал: “Угостили бы вы нас, Козьма Терентьевич, спаржей”, — на что Козьма Терентьевич возразил: “Спаржа, батенька, кусается: пять рублей фунт”.

¹ В узком кругу (фр.).

Как ни покажется странным для современного читателя, но мемуарист, отмечая скудость одного из богатейших жителей Москвы, указывал на такую его привычку:

“Перед тем как ложиться спать, Козьма Терентьевич стал обходить свой дом и тушить электрические лампочки, чтобы зря не горели”.

Впрочем, в маниакальном стремлении сберечь копейку Солдатёнков не был оригинален. Современники отмечали эту черту характера у многих купцов. Так, “миллионщик” Г. Г. Солодовников при жизни снискал славу уникального скряги. По Москве ходили анекдоты о том, как он требовал в трактирах только вчерашнюю кашу, поскольку стоила копейки; как не гнушался стащить яблоко у уличного торговца, как из экономии жил в квартире своего приказчика.

По рассказу П. И. Щукина, имел привычку красть в целях экономии и представитель другого богатейшего семейства – потомственный почётный гражданин Ф. Ф. Мазурин:

“Всегда угрюмый и плохо одетый, он по целым дням рылся в книжных лавках, причём иногда незаметно вырывал из редкой книги лист или два, чтобы её обесценить и купить подешевле, а при случае и воровал книги. Мазурин покупал книги в долг и постепенно платил. Будучи страстным любителем книг, он обладал большими библиографическими познаниями. Жил Фёдор Фёдорович в своём доме, окружённый котами и кошками, коих называл по имени и отчеству и с коими не брезговал есть из одной посуды”.

В романе “Замоскворецкие тузы” переговоры о сделке на сотни тысяч рублей купец прерывает вызовом слуги, чтобы отдать ему распоряжение:

– Беги, беги скорее... Я забыл захватить давеча булочек. Беги, купи булочек... вчерашних, вчерашних, понимаешь? Да, да, вчерашние дешевле, по копейке на каждую уступают. Вот тебе деньги, вот... Понимаешь?

– Понимаю, – угрюмо ответил парень, исподлобья смотря на хозяина.

– Ну, вот и беги. Ты поторгуйся, слышишь, хорошенько поторгуйся, может, по две копейки уступят. Слышишь, поторгуйся”.

А когда слуга вернулся без добычи, поскольку весь зачерствевший хлеб булочки раздали нищим, состоялся не менее выразительный диалог:

– Врёшь, врешь!.. Нету в одной, в другую булочную беги, в другой нету – в третью, в десятую. Есть где-нибудь, непременно есть. Ах, ах, какой бестолковый! Зачем только я тебя с собой вожу? Напрасный расход! напрасный расход!.. Ступай, беги скорее, найдёшь в других булочных.

Он снова отдал парню серебряную монету. Парень молча сжал её в своей огромной руке и лениво переминался с ноги на ногу.

– Что же ты столбом стоишь? Глупый, глупый!

– А ежели не найду вчерашних, как тогда быть? Станете меня опять ругать, когда не принесу. Лучше уж прямо скажите теперь, не брать, значит, свежих?..

– Бестолковый! Бестолковый!

Галактион Герасимович глубоко вздохнул и на некоторое время остался в нерешительности.

– Без хлеба нельзя! Нельзя без хлеба!.. – задумчиво проговорил он и после некоторого колебания обратился к парню с решительным словом:

– Не найдёшь – возьми свежих”.

Не только на страницах книг, но и в московской уличной жизни обыденным был отчаянный спор толстосума с извозчиком из-за пятикопеечной скидки на оплату проезда. Привычно было видеть и купца, заплатившего за ложу в Большом театре десятки рублей и пришедшего на спектакль со своим яблоком или кулком конфет в кармане парадного сюртука. А всё потому, что в буфете за эти лакомства пришлось бы заплатить дороже, чем купить у уличного разносчика.

Вернёмся, однако, в купеческий дом. Описывая жизнь обитателей Китай-города, П. Д. Боборыкин предоставил читателям возможность увидеть, как в купеческой семье проходил семейный обед, на который были приглашены родственники и знакомые:

“В зале накрыт был стол во всю длину, человек на четырнадцать. Особой столовой у Марфы Николаевны не было. Она не любила и больших дубовых шкапов. Посуда помещалась в “буфетной” комнате. Белые с золотом обои, рояль, ломберные столы, стулья, образ с лампадкой; зала смотрела сухова-то-чопорно и чрезвычайно чисто. <...>

Профессор ел щи и сильно чмокал, посапывая в тарелку. Прислуживал человек в сюртуке степенного покроя, из бывших крепостных, а помогала ему горничная, разносившая поджаристые большие ватрушки. Посуда из английского фаянса с синими цветами придавала сервировке стола характер ещё более тяжеловатой зажиточности. В доме все пили квас. Два хрустальных кувшина стояли на двух концах, а посредине их массивный гранёный графин с водой. Вина не подавали иначе, как при гостях, кроме бутылки тенерифа для Марфы Николаевны. На этот раз и перед зятем стояла бутылка дорогого рейнского. Молодёжи поставили две бутылки ланинской воды; но техники и юнкер пили за закускою водку, и глаза их искрились”.

“Ланинская” – безалкогольная “газировка”, производства завода “искусственных и минеральных вод” компании купца Н. П. Ланина. Её популярность среди москвичей позволила А. П. Чехову пошутить в одном из рассказов: “Женщинам до 16 лет – дистиллированная вода. 16 лет – ланинская фруктовая”. Что же касается водки, то молодым людям удалось её выпить до начала обеда. Таков был тогда этикет: полагалось в столовой на отдельный стол поставить водку и закуски, чтобы гости могли перед основной трапезой выпить “для аппетита” рюмку-другую.

Дворянин Боборыкин, показывая в романе выход на историческую арену новых хозяев жизни – купцов, – не мог удержаться от мелких уколов. Для него и описание бытовых деталей, в частности, манеры поведения за столом – средство лишний раз показать неискоренимую “чумазость” класса-победителя:

“Подали круглый пирог с курицей и рисом, какие подавались в помещичьих домах до эмансипации. Зазвякали ножи, все присмирели, и в молодом углу ели взапуски... Любаша ужасно действовала своим прибором. Анна Серафимовна старалась не глядеть на неё. Вилку Любаша держала торчком, прямо и “всей пятернёй”, как замечала ей иногда мать, отличавшаяся хорошими купеческими манерами; ножик – так же, ела с ножа решительно всё, а дичь, цыплят и всякую птицу – исключительно руками, так что и подруг своих заразила теми же приёмами. Невольно бросила Анна Серафимовна взгляд на свою кзину. В эту минуту Любаша совсем легла на стол грудью, локти прихотились в уровень с тем местом, где ставят стаканы, она громко жевала, губы её лоснились от жиру, обеими руками она держала госточку курицы и обгрызывала её. <...>

Рыба на длинной деревянной доске, покрытой салфеткой, следовала за пирогом. Соус “по-русски” подавала горничная особо. Любаша, как и все, кроме Анны Серафимовны, – её научил муж, – ела всякую рыбу ножом и крошила её, точно она собирается мастерить тюрю”.

Такое поведение за столом, судя по воспоминаниям В. И. Немировича-Данченко, приводило в отчаяние даже московского генерал-губернатора князя В. А. Долгорукова, которому по служебной обязанности приходилось приглашать купцов в свою резиденцию:

“Рассказывали про него так: для сближения противоположных лагерей у него каждый день обедало не менее двадцати человек, и при нём состоял специальный адъютант, который должен был следить за тем, кого и когда приглашать к обеду.

– Кто у вас по списку на завтра? – спрашивает князь. Адъютант показывает. При одной фамилии князь морщится:

– Нельзя ли без него обойтись?

– Нельзя, ваше сиятельство; давно не звали, человек нужный.

– Я знаю, но он пьёт красное вино после рыбы и режет спаржу ножом...”

Кроме дружеских визитов, в купеческих домах проходили и приёмы большого количества гостей. Какой бы замкнутый образ жизни не вели “Титы Титычи”, несколько раз в год они открывали двери своих домов для родных, близких и хороших знакомых. Как правило, устройством домашнего торжества отмечали именины “самого” и его супруги, а также получение награды, чина или звания.

По мнению П. А. Бурышкина, званые купеческие обеды служили средством, с помощью которого хозяин дома демонстрировал гостям степень своего к ним уважения: “Пресловутое легендарное московское хлебосольство состояло не в роскоши застольной трапезы. Оно выражалось в умении хозяина составить проگرامму обеда и в способности создать приятную для приглашённых обстановку. Незадолго до последней войны в некоторых домах московских снобов, на больших приёмах, когда ужин готовил либо “Эрмитаж”,

либо “Прага”, завели обычай давать карточку. Ужинавший мог заказать, что угодно. Старые любители покушать строго осуждали это нововведение. “Если ты меня зовёшь и хочешь приветствовать, — говорили они, — то избавь меня от заботы думать, чего бы вкусного я бы съел. А в трактир я и сам могу пойти, — денег хватит”.

Характерную особенность парадного обеда в купеческом доме — деление гостей на категории согласно их общественному положению — отметил автор романа “Буря в стоячих водах”:

“С утра уже начали съезжаться гости, и повара до свету готовили в очищенной для них кухне. Обед был сервирован более чем на сто человек, и почётный стол, “глаголем” расставленный в зале, сверкал дорогим хрусталём и новым, для этого дня купленным серебром. Гости толпились по всем комнатам, группируясь небольшими партиями и строго соблюдая местничество; так, например, в гостиной сидели только наиболее почтенные особы, с неизбежным на каждом купеческом торжестве генералом¹; в зале расположились гости уже не особенно значительные, а в столовой, угольной и прочих комнатах сидели и ходили небогатые родственники, служащие и бедные знакомые, всегда страшно оскорблявшиеся невниманием хозяев, но не могущие отказать себе в удовольствии хорошо пообедать, выпить и похвалиться потом, что “я-де вхож в дом такого-то и такого-то богача”.

В доме тянувшего к дворянству “коммерческого аристократа”, описанного А. С. Ушаковым, наибольшим почётом пользовались чиновники:

“Общество, приезжавшее поесть и сыграть потом в карты, что считалось большим и широким шагом на пути образования, было самое смешанное: первые места занимало чиновничество, с которым вместе служил Павел Васильевич, и разные исполнительные власти столицы, иногда даже проглядывали генералы, которых уже не возили кондитеры, как в старину, по купеческим свадьбам, а которые приезжали сами. Духовные чины высшего ранга также не брезговали трапезой, прилагаемой от плодов земных, а являлись даже, особенно перед началом, во главе общества и благословляли его. Нередко к концу обеда вставал рослый дьякон и гремел тост за здоровье хозяина и почётных гостей: “достопочтеннейшему, высокопочитаемому рабу Божию” и т. д. Умилительная, сладкоточивая улыбка разливалась в это время на жирных лицах представителей почтенного сословия, между тем как приглашённое чиновничество, имеющее претензию на благородное происхождение, улыбалось и весело пило”.

Ухмылки “их благородий” означали, что они, хотя и сидели за столом, но торжество в купеческом доме воспринимали как пародию на настоящий бал. Дело в том, что в дворянской среде светская жизнь строго регламентировалась так называемыми правилами хорошего тона. Например, участники балов делились на “играющих” и “танцующих”. Первыми было проще всего — весь вечер они проводили за игрой в карты. Вторые, чтобы принять участие в танцах, предварительно должны были посетить те семьи, где имелись “выезжающие в свет” барышни. В ходе визита молодой человек ангажировал девушку на танец, а она в специальную бальную книжечку записывала: на каком балу и в каком танце у неё будет этот кавалер. В изображении А. С. Ушакова, купеческий бал в начале 1860-х годов выглядит совсем иначе:

“Балы были ещё разнообразнейшею смесью всякой всячины: на них за недостатком танцующих приглашались в довольно значительном количестве немецкие конторщики, которые, попав на даровую выпивку, как большая часть молодых немцев, буршествовали самым безнаказанным образом и, особенно под конец вечера, купеческие дочери были кружимы ими в вальсе самым бесцеремонным образом; им зачастую приходилось выслушивать немало пошлостей и от них, и от своих русских кавалеров, из которых многие являлись в кадрили и лянсье с самым чистейшим запахом водки и разных закусок”.

Характерно, что и спустя двадцать лет бытописатель А. М. Дмитриев характеризовал балы в купеческих домах, не скрывая сарказма:

“Теперь эти самые балы у них в моду вошли. Да! Теперь все эти Кит Китычи в аристократию лезут, бонтонность свою норвят проявить.

¹ П. И. Щукин, рассказывая о фабриканте В. Д. Коншине, упомянул о его страсти приглашать на домашние празднества военных и штатских генералов, “до которых Владимир Дмитриевич был большой охотник”.

Знай наших! Мы, де, сами с усами. Наприглашают, а то, гляди, за свой счёт выпишут откуда-нибудь танцоров повиднее, знать позовут, музыку что ни на есть первый сорт наймут, и пошла писать губерния! А чтобы она действительно записала, местного строчителя пригласят: изобрази ты, друг разлюбезный, в газетине своей, как всё это у нас отменным манером было. Шампанского, де, выпито было... пиши: тысячу бутылок; конфет поедено... пиши: сто тридцать пуд. А весь бал, выходит, двадцать тыщ стоит. Во как!..

Ну, и наедутся к этому Кит Китычу разные первой – иначе ни-ни! – сорт их степенства, баре именитые наедут, а он же и земли под собой не чует: лестно уж очень. Ни принять-то он, горемычный, никого не умеет, ни слова сказать, а всё же рад радехонек. Как рак красный, стоит и преглупо улыбается. Напоит и накормит он этих бар до отвала, а они над ним же, сердечным, издеваются: хам, говорят, сапожник. Мелюзгу, хоша бы и из своего брата, из своих товарищей по какому-нибудь делу что ли, такой Кит Китыч не пригласит: “Им вместе с билетом, – не конфузясь, брякнет он, – и сорочки чистые посылать надо-ть!”

А в конце концов, и выходит, что баре издеваются, а свои обижаются. Потеха...”

Надо сказать, что в те годы пишущая братия потешалась не только над попытками купцов привнести в свой быт черты дворянского образа жизни. Постоянным объектом насмешек была необразованность многих представителей коммерческого сообщества. Вот, например, как прошёлся по торговому словию фельетонист журнала “Мирской толк”:

“Я говорю о том, что с каждым таким гнусным делом, с каждым политическим процессом, общественным мнением наших купцов и лавочников, нашего Замоскворечья вообще – оно и так иногда проявляет себя! – почему-то непременно связывается и наша университетская молодёжь. Слово “студент”, а иногда – и это чаще – “скубент” слышится везде и повсюду. И гадалка с Пятницкой, и кумушка с Полянки, и Кит Китыч с Вшивой горки, и мясник из Охотного, и, наконец, лавочник из Ножевой линии – все они в таких случаях хором кричат: “Это их, скубентов, дело!” И вот, в силу этих-то мнений об университетской молодёжи слово “студент” в сказанной среде сделалось бранным. Ругаются, например, два гостинодворца и, истощив, наконец, весь лексикон бранных слов, раздражаются, не зная как бы ещё посильнее уязвить друг друга, таким хотя бы финалом:

– А ты, такой-сякой, скубент!!

– Ты сам, – быстро парирует соперник, – скубент, и дети твои скубенты, и лавка твоя скубентка!!!”

Или вот А. М. Пазухин в очерке “Пешком по Москве” описал уличную сценку: купец-мясник не без издёвки призвал бедно одетого юношу дать денег пьянице-попрошайке. Дальше состоялся такой характерный диалог:

“– Сами подавайте, коли вы такой филантроп!

– Чиво-с?.. А вы не очень выражайтесь, а то и в загравок накладу, даром что в шляпе!.. Филантроп!.. Может, ты филантроп, а я брат, купец!.. Филантроп!.. Отфилантропить вот тебе затылок-то, так и будешь знать!.. Чушка полосатая, пра, чушка!..”

Молодой человек, употребив в разговоре с купцом мудрёное слово, действительно рисковал получить тумачков. Нравы были таковы, что от “Кит Китычей” можно было ожидать чего угодно. Даже в городских рядах некоторые купцы позволяли себе по отношению к посетителям проявлять откровенное хамство:

“В летопись городских рядов много занесено имён разных безобразников, о похождениях которых есть сотни рассказов из так называемого доброго старого времени, когда проходящих в рядах кувыркали, когда по ряду не пробегала ни одна собака, не получив увечья.

Особенно в рассказах о рядах чаще всего встречается имя купца, получившего за свои похождения прозвище Гришки Отрепьева, жизнь которого мы постараемся со всеми её гнусными проделками описать со временем, имея в руках много данных и в памяти, и в рассказах о его проделках, за которые он не миновал и острога, по выходе из которого имел столько наглости и цинической бессовестности рассказывать сам о своём там пребывании и своих проделках.

От Гришки Отрепьева в ряду не было никому проходу, как говорится, ни конному, ни пешему, ни чину духовному, ни монашеству, ни военному,

ни гражданскому. Всё ему с рук сходило. Только, сказывают, один раз хватил он собачьего арапника всласть.

Приходит к нему в лавку раз молодая дама с человеком¹ и спрашивает серьги для кормилицы. “Сейчас узнаю у приказчика”, — отвечает он, и начинает звать приказчика, очень хорошо зная, что его в лавке нет, и делает это не из чего другого, как из привычки к насмешке и самодурству, которая у него вошла в плоть и кровь, и потом оборачивается к даме, ожидающей его ответа, и говорит, что приказчика нет, он мыла объелся, в баню ушёл, и представляет слова, неудобные для печати, поясняя уход приказчика.

Дама, разумеется, растерялась от такой грязной нечаянности и поспешила скорее убраться из рядов, с заклятием никогда не посещать более эти клоаки невежества, грязи и грубости; но всё-таки тут же узнала в ряду фамилию хозяйина этой лавки и по возвращении домой передала мужу случай”.

Супруг оскорблённой дамы, выяснив, что за этим купцом дурная слава ходит давно, решил проучить хама с помощью подручного средства:

“Он предложил ему купить продающаяся у него разные вещи и осмотреть их у него на дому. Заручившись его согласием, он стал его ожидать с арапником в руках, которым дрессируют собак.

Купец не замедлил явиться, и ему вместо вещей показали оскорблённую даму и стали в спину вкладывать урок приличия и вежливости в достаточном количестве”.

К тому времени даже крестьяне, став жертвой “оскорблений действием”, с удовольствием тащили своих обидчиков, пусть даже дворян, для разбирательства к мировому судье. На этом фоне довольно странно выглядит реакция купца на полученную порку:

“Сказывают, что Гришка Отрепьев после этой выкладки задачи умножения арапником на своей спине имел столько наглости, что сказал: “Я жаловаться не пойду, не стоит”, — и попросил, чтобы ему дали спичку; хладнокровно вынул сигарку, закурил и спросил, где ему отсюда ближе пройти в Красное Село”.

Вполне возможно, что в этом было проявление ещё одной характерной черты “старого” купечества — всеми силами избегать общения с полицией и судом. В отличие от праздников, это было неприятным нарушением привычного уклада, о котором писал А. С. Ушаков:

“В жизни купца вообще очень мало перемен: ход её однообразен; он только отличается худыми или хорошими годами, прибылью или убылью семейства, потерю или барышом”.

Обычный для купца путь получения прибыли — продажа товара в большом объёме и по выгодной для него цене. Чтобы преуспевать в этой деятельности, требовалось проявить напор, сломить сопротивление контрагента и добиться сделки на своих условиях. Так, например, действовал один из героев “Замоскворецких тузов”: “Он ещё не оставлял торговли бумажными товарами и приезжал в Москву за их покупкой. Тогда московские купцы называли его “метла-купец”, определяя этой кличкой особенностью его торговых приёмов. “Придёт он в амбар, — говаривали они, — торгуется с бранью, кулаками перед носом торговца грозит, но зато, когда сойдётся в цене, весь товар из лавки заберёт, подметёт её, так сказать, дочиста”.

Также в понятие деловой купеческой хватки входило умение вовремя воспользоваться удачной ситуацией. В том же романе купец делился с супругой секретом мастерства получения прибыли, используя затруднения коллеги:

“Возвращался муж “из города”, начиналось новое чаепитие, разговоры о делах, о покупателях, о том, о другом. Захар Прохорович оживлённо рассказывал о своих удачах и горячо потирал при этом руки.

— Барышок будет! Очень можно сказать, хорошенький барышок схватим, — рассказывал он, — посчастливилось мне в одном дельце с приятелем. У него сроки платежей подошли, а у меня как раз ко времени деньги подвернулись свободные. Ему зарез, нет ходу, как говорится, ни взад, ни вперёд... Ну, вот я и выручил его, купил товар с уступкой.

— Прижал ты его, стало быть?

— Ну... м... м... не то, чтобы очень, а так легонечко. Без этого нельзя — дело торговое, и выгоды свои я должен соблюдать. Другой бы его не так на-

¹ Имеется в виду слуга.

жал, да он ни к кому другому и не обращался, знает, что разденут при нужде до рубашки. Убыток он, правду сказать, понёс порядочный, ну, Бог даст, наверстаёт, а мне случай выпал счастливый. Главная причина – товар хороший, ходовой товар, не залежится.

– То-то, вот, Захар Прохорович, ты теперь доволен, а когда он тебя при нужде нажмёт, захряхтишь небось!..

– Не без того. Дело торговое. Убытки и барыши по одной дороге ходят.. Только я на его счёт без сомнения, и он меня, ежели случай подойдёт, тоже до бесчувствия жать не будет. Ну, об этом теперь не к чему разговаривать. Надо Господа благодарить за настоящее, а в будущем – Его святая воля”.

Затруднения, из-за которых купцу пришлось сбить товар за бесценок, – это нехватка оборотных средств. Продукцию фабрик и заводов торговцы брали на реализацию, по сути, в кредит. Деньгами оплачивали частично, а на остальную сумму контракта выдавали вексель с определённой датой погашения. Точно так же выстраивались отношения с иногородними купцами, закупувшими товар в “амбаре” мелким оптом.

Понятно, что, если товар не удавалось продать к контрольному сроку или один из контрагентов не вносил вовремя деньги, купец-оптовик не мог расплатиться с поставщиком. Тогда фабрикант-кредитор мог через коммерческий суд потребовать взыскать долг, пусть даже для этого потребовалось бы распродать с аукциона имущество должника¹.

Помимо “дружеской” помощи, как в случае с продажей товара за бесценок, купец мог получить необходимые ему деньги, обратившись к так называемым “дисконтёрам”, “процентщикам”, “паукам”². Поскольку в 1860-е годы банков, финансировавших торговые операции, в Москве практически не было, их функции брали на себя купцы, скопившие значительные денежные средства. Они выдавали деньги, беря в залог векселя. Выгоду им приносил “учёт” – разница между обозначенной стоимостью векселя и выданной ими суммой. Обращение к таким финансистам, судя по описанию Д. И. Стахеева, было совсем не простым делом:

“Продавая товар большую частью в кредит под векселя на долгие сроки, Захар Прохорович не мог выжидать времени, когда наступит срок получения денег, и отдавал векселя под учёт купцам-процентщикам.

Тогда торговых банков было мало, и купцы, выдававшие деньги под залог векселей или приобретавшие их до срока (тоже, разумеется, ростовщички), давили и душили маленьких торговцев беспощадно. <...>

Войдёт, бывало, к нему в номер, помолится на образ и старается, насколько возможно, сократить все предварительные разговоры о здоровье, о погоде и т. п. для того, чтобы скорее приступить к делу; но Галактион Герасимович сбивает его с прямой дороги в сторону.

– Вот принёс я вам, – проговорил он, воспользовавшись удобной минутой, – по примеру прежних лет, векселёчки..

– Векселёчки? Вот как!..

Галактион Герасимович откашлялся, потер себе ладонью лоб и ответил после более или менее продолжительного молчания:

– Не знаю, не знаю..

– То есть что не знаете? – озабоченно спросил Захар Прохорович.

– Колеблюсь, брать ли.. Да! Хочу я, дружок мой, всё оставить.. бросить все дела.. Пора! Пора! Всё тлен, прах!.. И стар уже я становлюсь..

¹ Разориться мог любой из купцов, даже самый богатый, о чём рассказывал П. И. Щукин на живом примере: “На углу Маросейки и Армянского переулка возвышается красивый дом Грачёва, когда-то он принадлежал миллионеру, фабриканту Николаю Ивановичу Каулину, который жил в роскоши, давал обеды и, имея молоденьких дочерей, балы. Впоследствии в неудачных спекуляциях Н. И. Каулин потерял всё своё состояние, дом был продан, и Николай Иванович, ездивший прежде только в карете, стал ходить пешком. Я его знал уже мелким маклером – “зайцем”, – стариком с совершенно белыми волосами; он приходил к отцу в лавку даже зимой в холодной поношенной шинели с капюшоном и в шляпе-цилиндр. Под конец его жизни мой отец помогал ему. (“Зайцем” называется неофициальный маклер.)”

² П. М. Рябушинский отмечал такую особенность купеческого менталитета: “В московской неписаной купеческой иерархии на вершине уважения стоял промышленник, фабрикант. Потом шёл купец-торговец, а внизу стоял человек, который отдавал деньги в рост, учитывал векселя, заставлял работать капитал. Его не очень уважали, как бы дешёвы его деньги ни были и как бы приличен он сам ни был. Процентчик!”

Дети у меня не удались, дрянь ребята вышли, дрянь. Дураки, пьяницы, кар-тёжники!.. О Господи, помилуй!..

Он вздыхал, смотрел на образа, пред которыми у него теплилась лампа-да, и потом, помолчав, спросил как бы вскользь, между прочим, только ра-ди праздного любопытства:

– А чьи векселёчки-то?

– Да вот посмотрите... Все хорошие, самые надёжные векселя. Я, не ко-леблясь, с оборотом на себя возьму...

– Не знаю, не знаю... Хочу всё бросить... О Господи, спаси... Греш-ник я, грешник... А на много ли вся сумма?..

Вопрос был сделан беспечным тоном, как бы совсем без всякого интере-са к делу.

– Сумма вот... проверьте по этой выписочке...

– Так, так... Хорошие векселёчки, хорошие... Вижу, знаю... Ну, только вот колеблюсь я... Разве уж так только, для тебя, дружок. Очень уж ты при-ятный человек!..

Пересмотрев векселя и на этот раз с большим вниманием, Галактион Гера-симович назначил процент учёта. Вероятно, назначенный процент был очень вы-сок, так как Захар Прохорович, услышав о нём, поспешно поднялся со стула.

– Это невозможно!.. – прошептал он трагически.

– Как угодно, дружок! Как угодно! Невольте грех. Отнеси к другому. Мне меньше взять нельзя...”

В ходе жаркого спора процентщик обосновывал объявленные им суровые грабительские проценты займа коммерческим риском проводимых им опера-ций с деньгами:

“Галактион Герасимович вздыхал, произносил молитвенные возгласы, а сам перебирал в это время векселя.

– Да, ничего... векселёчки хорошие, надёжные. И толковать нечего... А всё же случается, и с надёжными бывает неудача... Всяко бывает!..

– С этими-то, уж извините, никакого риска нет.

– Толкуй! В позапрошлом году я взял от одного сахара векселёчки, тоже уверял, что никакого риска нет, а наконец того оказались никуда не годными: векселедатель погорел, а он вместо уплаты по обороту взял да и помер. Вот тут и учитывай векселя. Рисковое дело, рисковое!

– Я такой неприятности вам не сделаю.

– То есть какой?

– Не умру раньше срока, – улыбаясь, сказал Захар Прохорович.

– Не говори так. Нехорошо. Жизнь и смерть во власти Божией, ну, толь-ко на уступку я не согласен”.

В романе описание переговоров с финансовым “пауком” занимает почти десяток страниц. Несколько раз повторяется одна и та же ситуация:

“– Значит, извините за беспокойство. Разойдёмся.

– Разойдёмся, дружок, разойдёмся. Что делать, – задумчиво прогово-рил Галактион Герасимович и пытливо посмотрел на Захара Прохоровича.

Захар Прохорович свернул в трубочку векселя, взял в руки фуражку, как бы намереваясь уйти.

– Ну, и кремень же ты, я посмотрю, – продолжал Квасников, переменяя тон, – богат будешь, большие деньги наживёшь, потому, видно, характером ты твёрд... Так и быть, слышишь, для тебя только... Ты чувствуешь!

– Что такое... чувствовать?

– А вот то именно, что для тебя хочу сделать уступочку, понимаешь, только для тебя, другому – ни за что!

– Спасибо! Разумеется, я очень хорошо могу это понимать и ценить.

Сколько же уступаете?

– Изволь, четверть копейки сброшу.

– Спустите полкопеечки.

– Ни за что! Уходи, когда так. Уходи! Вот пристал, Уходи, тебе говорю... Ах, какой несносный человек!.. Царица Небесная! Да я такого отродясь не

видывал!..”

Купец добивался снижения суммы дисконта на 0,5 процента (“полкопееч-ки с рубля”), финансист соглашался только на четверть процента. Первый не уходил потому, что в голове постоянно крутилась мысль о предстоящих плате-жах. Второй только делал вид, что не заинтересован в сделке. На самом деле,

взяв в руки векселя, он уже не мог упустить предстоящую выгоду. Поскольку положение позволяло ему диктовать свои условия, переговоры завершаются с предсказуемым результатом:

“Кончился бой тем, что Захар Прохорович, решительно взмахнув обеими руками, сдался.

– Бог с вами!

– Ну, вот и расчудесно!..

– Да уж там как хотите, – со вздохом проговорил он, – чудесно или нет, а обстоятельства заставляют согласиться...

– Давай векселёчки-то, я подсчитаю общую сумму.

– Вот извольте, поверьте по этой выписке, тут подробно все перечислены, и общая сумма означена...

– Погоди, погоди... не мешай мне: я сам все пересчитаю, я по-своему, по-своему...

<...>

Векселя шуршали в морщинистых руках Галактиона Герасимовича, перекаладывались с одной части стола на другую, и пальцы правой руки проворно перебрасывали косточки на счётах.

– Вот и всё, – заключил он, окончив переборку векселей, – значит, вот и общая сумма. Так? И по твоей записочке то же выходит. Стало быть, без всякого сомнения, верно. Ну, теперь скидки за всё время – вот сколько, а к выдаче тебе остаётся – вот сколько. Так или нет?

Захар Прохорович ни слова не произнёс в ответ и только слабым кивком головы дал знак, что возражать против такого расчёта не может.

Свернув векселя в трубочку, Галактион Герасимович ушёл за занавес, где около кровати, в большом железном шкафе хранилась у него тяжёлая устюжская шкатулка с деньгами. Через несколько времени послышался оттуда дребезжащий звук отпираемого замка, потом глубокий вздох и громкий возглас: – О Господи, помилуй!.. Царица Небесная...

Минуту спустя замок снова зазвенел, снова послышался молитвенный возглас Квасникова, и сам он появился из-за занавеса с пачками кредитных билетов”.

Если купцу не удавалось расплатиться с кредиторами, то он, как говорили в Москве, “вылетал в трубу”, то есть разорялся. Объявление финансовой несостоятельности с целью неплатежа кредиторам также имело народное купеческое название: “вывернуть наизнанку кафтан (тулуп)”. Как вспоминал Н. Д. Телешёв, неудачливый коммерсант, дороживший честным именем и считавший себя жертвой стечения обстоятельств, устраивал специальную чайную церемонию:

“Случалось довольно нередко, когда купец, задолжав по векселям разным лицам солидную сумму, созывал своих кредиторов “на чашку чая”, как тогда говорилось, раскрывал перед ними свои бухгалтерские книги и сообщал, что дела его крайне плохи и оплатит полным рублём свои долги он не в состоянии, а предлагает получить по “гривенничку за рубль”, то есть вдесятеро меньше. Если кредиторы признавали несостоятельность как несчастье и верили в честность купца, то устраивали над его делами “администрацию”, то есть опеку, а если видели, что дело это мошенническое, что купец, как говорилось тогда, “кафтан выворачивает”, что деньги припрятаны, а собственный дом переведён заблаговременно на имя родни, то устраивали “конкурс” – продавали остатки имущества с молотка, то есть с аукциона, – а самого несостоятельного сажали в яму у Иверских ворот, пока тот не раскается и не выложит припрятанные капиталы”.

И хотя писатель не взял в кавычки слово, обозначающее тюрьму для должников, не следует считать, что её обитатели отбывали срок в подземелье. Есть версия, что название “долговая яма” связано с тем, что она находилась на месте, где в старину был “Львиный ров” – оборонительное сооружение, приспособленное под зверинец. В любом случае, автор очерка “Вечер в долговом” свидетельствует, что “яма” находилась в обычном флигеле городской усадьбы:

“У Иверской, в том старинном здании, где помещается известная, я думаю, всякому московскому гражданину управа благочиния¹, войдя на двор,

¹ Общегородское полицейское учреждение, созданное Екатериной II и упразднённое в 1881 году в ходе реформы полиции.

налево, есть ворота, окрашенные жёлтой краской и захватанные руками до черноты. Над этими воротами на чёрной доске есть надпись: “Временная тюрьма для неисправных должников”. На воротах, около калитки прибита четвёртка бумаги, на которой написано: “Просят господ посетителей не проносить спиртных напитков”. Это и есть вход в долговое отделение или “Яму”, как называют его москвичи”.

Постояльцев “долговушки” могли навещать родные и знакомые, но доступ был связан с определёнными ограничениями:

“Чтобы войти во двор Ямы, надо постучаться: сейчас в провёрнутой в калитке дырочке засветится глаз сторожа, стукнет замок, и посетитель войдёт. “Вы к кому?” – спросит сторож. “К такому-то”, – ответит посетитель. Сейчас сторож осмотрит посетителя, вывертит, пожалуй, карманы, и посетитель не должен обижаться на это, потому что всё это делается с хорошею целью – ей-богу с хорошею, именно: чтобы посетитель не пронёс с собой спиртных напитков и тем не растлил аскетических намерений лиц, содержащихся за этими воротами. “Пожалуйста”, – скажет сторож, осмотрев посетителя”.

В лучших традициях русской литературы рассказ о визите в долговую тюрьму не обошёлся без описания пейзажа:

“Теперь уже час шестой вечера. Июньское солнце скользит своими лучами по золотым маковкам кремлёвских церквей, по кровлям домов, бьёт в старые, выцветшие стекла древних зданий, дрожа и переливаясь в нить разноцветными огнями радуги, и упирается в жёлтые стены этих зданий. На дворике долгового отделения нет солнца, а любуются там только золотистым отблеском его на стенах соседних домов. Дворик, куда я вошёл, принадлежит дворянскому отделению неисправных должников. Около барьера, окаймляющего двор с одной стороны, растут несколько симметрично рассаженных молоденьких тополей с курчавой кроной; около почти каждого из них врыты в землю зелёные скамеечки”.

Любопытна фигура одного из героев очерка, – судя по манерам, из купцов:

“В коридоре послышался крепкий кашель и тяжёлые чьи-то шаги: вошёл Мармонов, приземистый и широкоплечий мужчина лет сорока, который слышит за силача. Мармонов как-то давно, года два тому назад, сидел в долговом отделении и выпущен уже из него; но он приобрёл такую привычку и, можно сказать, даже любовь к нему, что почти каждый день и теперь посещает его. Из прежних его сотоварищей по несчастью никого уже не осталось в Яме, он завёл знакомство с новыми лицами, которые теперь сидят, и продолжает навещать свою “квартиру всегдашнюю”, как сам Мармонов выражается про Яму. Нуждается ли Мармонов в папиросах, выпить ли ему захочется, а денег не случится, – он идёт в Яму с полнейшей уверенностью, что он всё это найдёт там. Спать ли захочется Мармонову, а к жене идти не хочется, – он опять идёт в Яму и действует там на правах хозяина: заходит в чей-нибудь номер, ложится на койку и засыпает, – и уже тут его никто не будит, не надоедая – беда тому. Иные новички Ямы, не знавшие Мармонова, сначала пытались будить его, когда он ложился на их постель, но тот отвечал только рычанием.

– Не буди льва в берлоге, – бормотал он лениво.

А когда Мармонову слишком докучали, он вскакивал и, подняв вверх кулак, как молот полупудовик, ревел в истомный голос:

– Видал ли ты обломки корабля? В щепы разнесу!”

Мы не берёмся объяснить, почему московский купец вдруг ударился в морскую тематику. Возможно, это как-то связано с тем, что в то время постояльцы дворянского отделения “ямы” своё пребывание за решеткой называли “Кругосветное путешествие на фрегате “Надежда”. Аллегория, в общем-то, понятна: подобно морякам, узники обречены пребывать в замкнутом пространстве неопределённый срок. Правда, мореплаватели могут потерпеть кораблекрушение и испытать страдания из-за отсутствия пищи и воды. А вот жертвы житейских бурь, как выясняется, голод и – главное – жажду утоляли довольно легко:

“Составилась складчина по рублю. Алёшку отправили за водкой, за вином и за закуской. “Но ведь в воротах осматривают всех, чтобы никто не пронёс спиртных напитков в долговое отделение! Как же сделает Алёшка?” – подумает читатель. Если бы ты, читатель, задал этот вопрос лично Алёшке, он бы непременно захохотал прямо тебе в лицо. “Нельзя, – сказал бы он, –

только на небо взлезть”. И правда. Чтобы пронести в ворота водку или вино, употребляются большие аптекарские склянки с сигнатурками. Если сторож спросит, что в этих склянках, отвечают всегда: “Это, мол, барину лекарство”, — ну, и носи с Богом, коль лекарство. Но к этому и подобным, так сказать, тайным средствам прибегают только новички долгового отделения; большая же часть действует открыто: люди, которые живут в Яме вместе со своими господами, обыкновенно заводят знакомство со сторожами, входят с ними в приятельские отношения — и дело ладится хорошо. Разумеется, сторожа за эту поблажку получают с заключенных гонорары или в виде ежемесячных податей, или в виде подарков к разным праздникам; а сверх того угощаются слугами сидящих в Яме.

Поэтому нисколько не удивительно, что Алёшка вернулся из города с целым кулём водки, вин и закусок”.

По всей видимости, далеко не все москвичи знали о таких подробностях тюремного быта, поэтому, по свидетельству И. А. Слонова, постояльцев “ямы” жалели и снабжали продуктами: “. . . их называли, “несчастненькими”, жертвовали чай, сахар, калачи и проч. А иногда, к праздникам Пасхи и Рождества Христова более сердобольные благотворители выкупали заключенных, то есть уплачивали их долги, и должников выпускали на свободу”.

Так, праздничную амнистию одному из должников из года в год устраивал московский генерал-губернатор князь В. А. Долгоруков. Те, кому не выпадало такого везения, продолжали сидеть, и в отличие от обычной тюрьмы, у них не было чётко определённого судебным приговором срока. Злостный банкрот мог провести в “яме” весь остаток дней. Свободу он получал, если кредитор получал требуемый долг (или хотя бы его приемлемую часть), либо когда он же переставал вносить “кормовые деньги” — то есть прекращал оплату содержания заключённого.

“Всё это делалось на законном основании, — рассказывал Н. Д. Телешёв. — Но за купца в яме надо было платить — за содержание, за еду. . . Сидит, сидит купец в яме, кредиторы за него платят, платят, а толку нет. Иной раз родственники жалуются и вносят некоторую сумму из припрятанных денег. И если кредиторам надоедало платить за харчи, они прощали купца и выпускали из ямы, а то требовали новой суммы в уплату, и купец продолжал сидеть”.

Манипулирование “кормовыми” могло служить и инструментом изошёренной мести. Если поступление денег прекращалось, должника выпускали на свободу. Однако стоило ему в полной мере ощутить радость жизни на воле, кредитор возобновлял уплату. За банкротом приходили полицейские, и он снова оказывался в “яме”.

А ещё в истории долговой тюрьмы был случай, когда купца, “вывернувшего тулуп”, очень долго продержал в узилище собственный сын. По рассказу П. А. Бурышкина, случилось это так: “Он был ещё молодым человеком, его отец решил не платить и “сесть в яму”. Он перевёл дело на сына и объявил кредиторам, что ничего платить не может. Его “посадили в яму” — тюрьму для неплательщиков — и стали ожидать, какая будет предложена сделка.

После некоторого времени узник позвал своего сына и поручил ему предложить кредиторам по гривеннику, в уверенности, что те согласятся и выпустят его на свободу. Но сын всё медлил и на сделку не шёл. Через некоторое время, когда отцу уже сильно надоела тюрьма, он стал сурово выговаривать сыну, который преспокойно отвечал: “Посидите ещё, папаша”. Когда возмущённый отец сказал: “Ведь это я всё передал тебе, Вася”, — сын ему “резонно” ответил: “Знали, папаша, кому давали”. Отец долго просидел в тюрьме, потом его всё-таки выпустили, после чего вскоре он умер”.

В романе “Коммерческая аристократия” А. С. Ушаков поделился таким жизненным наблюдением:

“Купцы больше всего любят свадьбу, хотя нередко охотно ждут и похорон; но если часто похороны одного лица много изменяют ход жизни, то свадьба имеет на жизнь ещё большее влияние. То и другое большей частью предполагает денежную наживу. . .”

Действительно, в купеческих семьях свадьба, кроме цели “остепенить” сына или “пристроить” дочь, была и средством выгодного вложения капитала¹.

¹ Подробный рассказ о купеческих свадьбах содержит наша предыдущая книга “Барышни и дамы”.

Смерть богатого купца меняла расстановку сил среди промышленников и торговцев. Если наследники не обладали деловой хваткой отца или желанием продолжать семейное дело, фирма приходила в упадок и уступала в конкурентной борьбе. Сами условия завещания могли привести в движение большие денежные потоки, как это случилось у Бурышкиных:

“По своему завещанию мой отец назначил денежные выдачи всем своим служащим, включая в это число и всех тех, кто служил в нашем торговом деле. “Включая сюда и всех служащих в учреждённом мною Товариществе А. В. Бурышкин”, – было сказано в завещании. Выдачи исчислялись согласно числу лет службы, и отдельные выплаты были довольно высоки.

Все же вместе эти выплаты выразились в очень больших цифрах и для того, чтобы не трогать деньги из дела, хотя бы путём займа, нам пришлось продать некоторые из наших имений.

Завещание моего отца не было “единственным в своём роде”, но такие примеры бывали, по правде сказать, редко, и потому об этом деле довольно много говорили. Надо сказать, что провести всю эту операцию было совсем не легко”.

Последняя воля покойного зависела от его воззрений и личных качеств. Одни купцы отписывали накопленные миллионы на благотворительность, и тогда в Москве появлялись больницы, богадельни, приюты, школы и училища, носившие имена умерших богачей¹. Другие завещали огромные средства церквям и монастырям.

При этом случалось, что наследникам доставались крохи. Так, например, поступил знаменитый скряга Г. Г. Солодовников. Его дети получили чисто символические суммы, а более 20 млн руб. пошло на благотворительные цели. Треть от них поступило в распоряжение Городской Думы – на строительство домов дешёвых квартир для городской бедноты.

Если наследники были не согласны с условиями завещания, они подавали протест и затевали судебное разбирательство. Чем больше миллионов стояло на кону, тем красноречивее выступали знаменитые адвокаты. Такие судебные процессы долго служили пищей для пересудов среди москвичей.

Впрочем, смерть богатого купца сама по себе была событием, нарушавшим привычное течение городской жизни. Первыми, кто начинал суетиться, были гробовщики. По воспоминаниям П. И. Щукина, они проявляли большую настойчивость, стремясь получить выгодный заказ:

“Дядя Владимир Петрович Боткин, женатый на Анне Ефимовне Гучковой, был человек атлетического сложения. Жил он с семьёй на даче в Сокольниках, где однажды захворал белой горячкой, стал буйствовать, почему был связан и скоро умер, ещё в молодые летах. Мы с отцом приехали в Сокольники, когда Владимир Петрович лежал уже мёртвый, и у ворот дачи толпились гробовщики. Потом приехал Пётр Петрович Боткин, и гробовщики стали приставать к нему; один говорил: “Я делал гроб вашему батюшке”; другой: “Я делал гроб вашей сестрице”; и т. д. (Похоронные бюро тогда ещё не существовало; гробовщики сами узнавали, где есть покойник, и являлись за получением заказа)”.

А вот так описал П. И. Щукин некоторые моменты похорон отца:

“Начались обычные панихиды и приготовления к похоронам. Швейцар Егор Акимович и повар Егор Петрович, которым часто от отца доставалось, сами попросили, чтобы им позволили читать у гроба отца Псалтырь, что, конечно, им разрешили, и они по очереди стали читать.

5 декабря состоялись похороны в приходской церкви Воскресения Христова на Остоженке. За отпеванием присутствовали почётный опекун генерал-лейтенант А. А. Козлов, городской голова Н. А. Алексеев, гласные Думы, вы-

¹ “Москве знакомы два типа купца-благотворителя: один систематически, всю жизнь жертвует, планомерно создавая какое-нибудь учебное или общественное учреждение, становясь при жизни “благодетелем”; второй всю жизнь наживает всеми средствами, вплоть до самого беспардонного хищничества, а умирая, завещает свои миллионы на благотворительные цели... Простое перечисление всего созданного в Москве на купеческие деньги заняло бы несколько страниц: Хлудовская, Бахрушинская, Морозовская, Алексеевская, Солдатёнковская больницы; больница для душевнобольных на Канатчиковской даче, почти все клиники; Тарасовская, Медведниковская, Мазуринская, Ермаковская и др. богадельни; Ермаковский ночлежный дом, дома дешёвых квартир имени Г. Г. Солодовникова, Рукавишниковский приют; Третьяковская галерея, театральные музеи А. А. Бахрушина, музей П. И. Щукина, Медведниковская гимназия, Шелапутинский педагогический институт, его же гимназия и реальное училище и т. д.” – писал Г. Василич в статье “Москва 1850–1910 г.”.

борные купеческого общества, члены московского Учетного банка, родные и много знакомых. Было множество венков, между прочим, от К. Т. Солдатёнова – “В память 52-летней дружбы”. (Отец подружился с К. Т. Солдатёновым ещё до своей женитьбы. Оба жили в Москве, в Таганке, и квартира отца состояла всего из двух комнат; в одной стояли кровать и конторка, а в другой – два ткацких станка, на коих работалась кисея.) От церкви Воскресения Христова до Покровского монастыря гроб отца несли на руках рабочие Чижовской артели, по собственному желанию. Похоронили отца около самой монастырской церкви”¹.

Некоторое представление о том, как провожали в последний путь умершего купца, даёт соответствующая сцена из романа А. А. Соколова “Тайна”:

“Шествие открывал высокорослый детина в белом балахоне и с булавой. За ним шли по двое в ряд торговые мальчики и приказчики Куропаткина. Управляющий, тот самый Никандр Похитонов, которому по завещанию указано было вести дело покойного, важно выступал с золотой подушкой, на которой укреплены были знаки отличия. Около него шли кассир и бухгалтер. Далее следовали певчие и духовенство. Гроб несли на руках рабочие, за гробом следовала жена, ведомая под руки сыновьями, масса родных и родственников, друзей и знакомых, просто любопытных и случайно, как говорят, по дороге пристегнувшихся.

За толпой ехали пустые дроги, а за дрогами – две колесницы с венками – новейший обычай чествования памяти умерших”.

В богатых семействах не жалели средств, чтобы погребальный обряд выглядел по-настоящему пышным и торжественным. Вот как запомнился Н. Д. Телешёву антураж купеческих похорон:

“Белый балдахин над колесницей с гробом и цугом запряжённые парами четыре и иногда даже шесть лошадей, накрытых белыми попонами, с кистями, свисавшими почти до земли; факельщики с зажжёнными фонарями, тоже в белых длинных пальто и белых цилиндрах, хор певчих и духовенство в церковных ризах поверх шубы, если дело бывало зимой. Вся эта процессия не спеша двигалась к кладбищу”.

На “перворазрядных” похоронах для декорирования гроба не жалели ни парчи, ни живых цветов. Однажды корреспондент журнала “Будильник” наблюдал интересную картину:

“Эта процессия обращала на себя внимание не столько пышной обстановкой, сколько почти небывалым явлением: покрытые дорогими парчовыми покрывалами и украшенные венками живых цветов медленно двигались один за другим два гроба. Несшие их люди были совершенно скрыты под парчой и массой цветочных гирлянд, перевязанных ленточками. Таким образом, казалось, что хранилища бранных останков усопших неслись как бы по воздуху”.

По московской традиции замыкали процессию специально нанятые родственниками усопшего несколько линейек. Это были экипажи, перевозившие по десятку пассажиров. Они предназначались для бедных родственников и знакомых умершего, но, судя по очерку “Лизоблюды”, набивались в них профессиональные искатели дармовщины:

“На линейках, идущих в хвосте процессии, заседает самая разношёрстная публика: салонницы всевозможных оттенков, отставные военные в сильно потёртых форменных одеяниях, какие-то тёмные личности с неуловимой для глаза профессией, рыночные кумушки и проч. На всех лицах написана покорность судьбе, слышатся частые вздохи и отрывки из благочестивых размышлений по поводу смерти, но иногда эти размышления прерываются вопросами и замечаниями чисто житейского свойства:

- Рыбу, не слышно, у кого брали к поминкам?
- Не слыхала, матушка, не хочу лгать... Да уж известно, брали что ни на есть лучшую – люди богатые...
- Ну, а раздача будет?
- Вот тоже не могу наверно сказать...”

Пассажиры линейки не зря интересуются качеством рыбы, поскольку для них главное – попасть на поминальный обед. А словом “раздача” обозначен другой обычай купеческой среды: раздавать бедным деньги “на

¹ Как отмечал И. А. Белоусов: “Именитое купечество и люди учёные хоронились на кладбищах при московских монастырях – Донском, Новодевичьем, Симоновском, Даниловом, Покровском и прочих”.

помин души новопреставленного раба Божьего”. Об этом, в частности, упоминал И. А. Белоусов:

“Похоронную процессию всегда сопровождала толпа нищих; родственники покойного везли с собой целые мешки медной монеты и во всю дорогу до кладбища раздавали их нищим”.

Однако не всегда раздача происходила именно на похоронах. Автор бытовой зарисовки “Алчущие и жаждущие” описал иное развитие событий. На похоронах купца, оставившего многомиллионное наследство, среди собравшейся толпы разнёсся слух, что раздавать будут не медь, а по целому рублю. И вдруг:

“— Раздачи сегодня не будет! — прокричал начальнический голос.

— Раздачи не будет! Раздачи не будет! — пронеслось по толпе и замерло где-то на конце улицы. Толпа поволновалась и стала мало-помалу редеть...”

Заклательным этапом прощания с умершим купцом был поминальный обед. Как правило, их устраивали с помощью так называемых “кондитеров” — владельцев специальных заведений, где проводились свадьбы и поминки. Н. Д. Телешёв о них писал:

“Москвичи вообще любили помянуть своих покойников.

Поминальные обеды справлялись с особым ритуалом: прежде всего, на них присутствовало духовенство, которое перед обедом читало положенные молитвы, служило литию и благословляло “яство и питье”, которыми обильно были уставлены столы. Меню поминальных обедов состояло из рыбных кушаний, особенно если поминки приходились в постные дни недели или посты. Первым блюдом подавались блины с зернистой икрой, а кончался обед киселём с миндальным молоком.

По окончании обеда духовенством опять служилась лития, заканчивавшаяся “вечной памятью”, которую пели все присутствующие, после чего разносилась в стаканах мёд-сыта¹”.

И ни одни поминки не обходились без пронырливых “лизоблюдов”, которых воспринимали как неизбежное зло:

“Все прибывшие на похороны сидели теперь в залах гостиницы за несколькими столами и поминали усопшего обильным обедом, на который не поскупилась вдова богатого Кожуркина. Народу набралось бездна; к званным примкнуло много и незваных, но на это родственники покойного не обращали внимания, считая недостойным в такие торжественные и печальные минуты, какие переживались ими теперь, заводить разговоры и сцены с людьми, явившимися без приглашения помянуть умершего.

Для непрошеного и бедного люда были отведены особые столы в особых комнатах гостиницы...”

Отдельные столы в особых комнатах — это ответная мера организаторов поминок на нашествие незваных гостей. Для них “кондитеры” планировали специальное меню: блюда из продуктов подешевле и похуже качеством (например, рыба “с душком”), а также соответствующие напитки. Да ещё инструкторовали официантов, чтобы те в оба глаза следили за сохранностью столовых приборов.

Если “раздача” происходила на следующий день после похорон, “алчущие и жаждущие” опять были тут как тут:

“Утро. Перед домом вдовы покойного вся площадь запружена народом. Между большими множеством детей разного возраста, есть даже грудные, которых держат на руках матери. Более чистая “публика” находится во дворе, за чугунной решеткой. Её впускают туда городовые поодиночке, в уважение к шляпкам, кокардам и прочим атрибутам, наглядно выражающим звание и порядочность. Публика на площади волнуется, по временам слышится брань: бранятся между собой больше бабы, толкают друг друга; во дворе публика ведёт себя сдержанно; в отдельных кружках толкуют о разных житейских делах, о непрочности всего земного, о громадном состоянии покойного. Идут предположения, что вдова покойного наверно достойно почтит его память...”

Фантазия собравшихся не имела границ: кто-то уверял, что семья миллионера будет выдавать на помин души по рублю в течение сорока дней. Однако в действительности всё вышло иначе: “господин с кокардой указал на чётёрёх человек в костюмах артельщиков, которые вышли на крыльцо... Толпа

¹ Мёд, разведённый в воде.

дрогнула... Потянулись руки... Двое артельщиков раздавали на дворе, двое других отправились на площадь...

Там буквально стоял стон: “усердие” блюстителей порядка установить тишину и хотя сколько-нибудь удержать толпу было тщетно. Народ лез как на приступ; но вдруг, посреди самого разгара, случилось что-то такое, отчего толпа быстро рассеялась... Стоявшие во дворе увидели, как из пожарной машины, которая выросла как из-под земли и очутилась на площади, качали воду и обливали ею кого попало...

— Вот так сюрприз! Недурно, право недурно. По гривеннику на брата и угощение холодным душем! — смеялся господин с кокардой.

Толпа с криком разбегалась”.

Интересно, что спустя год после публикации этого очерка общественных нравов, возле дома чаеоторговца А. С. Губкина на Рождественском бульваре произошла схожая история. Вот как она запомнилась И. А. Белоусову:

“Когда в начале восьмидесятых годов умер богатый купец Губкин, родные его вздумали раздавать подавание на дому. Двор дома Губкина на Рождественском бульваре до того был переполнен нищими, желающими получить подавание, что было задавлено несколько человек, и весь бульвар запружен желающими пробраться во двор, чтобы получить довольно крупное подавание, кажется, по рублю; конная и пешая полиция едва разогнала толпу...”

С уходом из жизни купцов старой закалки с их специфическим поведением (“нравом”) в ведении дел и в быту тон в Москве начинают задавать представители нового поколения деловых людей. Однако “Кит Китычи” оставили о себе память не только тем, что послужили прототипами героев пьес А. Н. Островского. Благодаря их коммерческой и общественной деятельности Москва подошла к XX веку совершенно другим городом, о чём писал современник:

“Ушли тузы барства под тяжесть могильных плит и... пришли им на смену другие тузы с Таганки и Замоскворечья, и... переделали Москву-усадыбу в Москву-фабрику и торговую контору, Москву трамваев и небоскребов, фабричных труб и световых реклам. Пришли из глубин народных и другие живые силы и обратили столицу рабовладельцев и вольтерьянцев в столицу русского просвещения, с музеями и аудиториями, с бесплатной народной школой, с народными домами, театрами и университетами”.